СОДЕРЖАНИЕ

Некрологи

	Стр.
М. П. Павлович-Вельтман	3
А. В. Иванов	6
В. З. Туров	8

I. Статьи

Фриче, В. Проблема диалектического развития искусства	10
Брудный, М. Критические заметки (против толкования И. Рубина теории стоимости Маркса)	23
Лейкин, Э. Исходные положения Марксовой теории кредита	58
Корсунский, А. Математические упражнения критиков Маркса	85
Альтер, И. Роза Люксембург в борьбе с реформизмом	113
Бернштейн, А. Производительные силы как основная категория Марксовой теории исторического материализма	169
Опарин, А. Химическая теория происхождения жизни	229

II. Стенограммы докладов, читаемых в Коммунистической Академии

Богданов, А. Пределы научности рассуждения	244
Прения по докладу А. Богданова (т. т. Шатуновский, Корев, Асмус, Вайнштейн, Баммель, Кан)	263
Заключительное слово А. Богданова	283

III. Критика и библиография

Позняков, В. И. И. Рубин. Современные экономисты на Западе	291
Чичикалов, А. С. Васильев. Философия и ее проблемы	294
Агел, И. Медицина и диалектический материализм. Труды об-ва врачей материалистов 1 М. Г. У., вып. второй	298

ВЕСТНИК КОММУНИСТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ

КНИГА XXI

ИЗДАНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ

1927

II. Стенограммы докладов, читаемых в Ком. Академии

ПРЕДЕЛЫ НАУЧНОСТИ РАССУЖДЕНИЯ

(Доклад А. А. Богданова) [1]

Вопрос этот я поднял не случайно. Мне приходилось и печатно кое-где и в порядке более частном высказываться по поводу того своеобразного явления, которое значительно развилось за последнее время у нас в литературной и в научной работе, и которое я называю рассуждательством. Оно, конечно, связано с таким необходимым и серьезным фактом познания, как рассуждение, которое является его драгоценным и могущественным средством. Без рассуждения какое же познание? Но мы знаем, что рассуждение также есть и источник заблуждений, даже, может быть, при точном исследовании окажется, что все заблуждения возникают из рассуждений; но и истины без них получиться не может. Поэтому вопрос о научной ценности рассуждения, конечно, важен и ценен сам по себе; при известных условиях он приобретает особое значение, именно в те эпохи, при тех условиях, когда развивается такая своеобразная эпидемия, называемая рассуждательством.

Так вот, надо выяснить критерий, или вернее—возможности рассуждения. Его ценность определяется тем, что оно вообще при нормальных условиях может дать. Я не могу, само собой разумеется, этот вопрос ставить в целом, пришлось бы сюда вместить всю логику. Но вопрос о формальной стороне механизма я оставлю в стороне. Я буду предполагать, что рассуждение в этом смысле ведется именно так, как тогда, когда мы считаем его вполне правильным, что механизм действует логически „нормально“, как вообще действует у людей на данной стадии их развития. И вопрос о ценности сосредоточится в моем анализе на элементах рассуждения, на тех условиях ценности, которые зависят от этих элементов.

Элементы рассуждения, это понятия с их оболочкой — словами. Понятия—материал рассуждения, а слово, это его орудие. И вот тут собственно возникает вопрос. Дело в том, что либо человек господствует над своими орудиями, либо они господствуют над ним. И когда человек не господствует над ними, то они господствуют над человеком. Так в технике, так в экономике. Если работник не владеет машиной, она покажет ему свое господство. В экономике, если люди не владеют орудиями своих отношений, ну, скажем, таким орудием, как деньги, это орудие—деньги—господствует над ними. Капитал есть орудие, превращенное в средство эксплоатации. Люди, как организация, им не владеют, и значит капитал господствует над людьми. Мы знаем такие соотношения, и совершенно естественно поставить вопрос: нет ли такого же господства со стороны слов-понятий, со стороны этих элементов рассуждения? Дело в том, что и априори можно допустить, что это так, потому что слова-понятия—это комплексы социально-идеологического характера, они продукт социальной жизни, и существование их социально. А оперирует ими в рассуждении кто и что? Механизм индивидуальный, мозг. Значит, орудие социальное, а оперирует им индивидуальный деятель. По масштабу оперирующий ниже того, чем он оперирует, так что нужны даже особые условия, чтобы не получилось как раз господства орудия над действующим, над тем, кто его применяет.

Рассмотрим же это орудие, — я говорю о всем комплексе слово-понятие, потому что так правильнее: понятия без слов не существуют, слова представляют их фиксирующую оболочку, их скелет. Содержание понятия прикрепляется к этому скелету, без него оно бы совершенно распылилось в сознании, и только этот скелет дает устойчивость понятию. Скелет этот есть комплекс иннервационный, рефлекторный, известные условные рефлексы, связанные с некоторыми звуковыми проявлениями. С этой иннервационной системой, комплексом иннервационных реакций, связывается определенное содержание. Но это содержание искони бе переменное: слово многозначаще. Каждому фиксирующему скелету слова соответствует весьма множественное содержание, обозначаемое нами, как понятие. Так было с самого начала, в те времена, когда создавались слова-понятия, когда человек стал превращаться в существо говорящее и затем мыслящее («затем»,-говорю потому, что мышление есть не что иное, как речь без звука, речь внутренняя). В те времена, значение слова, это было значение трудового междометия. Согласно принимаемой нами, и, кажется, мало оспариваемой в нашей литературе теории Нуарэ, каждое такое междометие имело бесконечно обширное значение, выступало в самых разных случаях, это был рефлекс, который вызывался самыми различными условиями. Вот, положим, такой первичный корень «раг» с гортанным «р», который представляет нечто вроде рычания и, повидимому, обозначал, — во всех арийских языках его можно найти,—обозначал то рычание, которое вырывается у человека при нанесении удара в боевом настроении; совершенно естественно этот звук вырывался у первобытного человека еще много тысяч лет тому назад. Когда он действительно дрался, это рычание вырывалось само собой из его груди, как результат усиленного напряжения; и также когда его что-нибудь приводило в боевое настроение, когда он видел неприятеля, или даже думал о нем,—примитивные люди страшно непосредственны, у них легко возникает от живого впечатления эмоциональная реакция. Ее порождало все, что могло напомнить ему о нанесении удара: орудие, топор; если он его увидит,—у него возникала мысль, как им можно ударить, и это вызывало то же самое рычание; оно предста-

[1] Прочитан в Секции научной методологии Комм. Академии 14 мая 1927 г.

вляет в данном случае первичный корень, послуживший началом бесчисленных слов. В русском языке, напр., «враг», «разить», в латинском frango - разбиваю, ломаю, с бесчисленными производными, в греческом ρηγνυμι, в немецком raqen, Rache, brechen. Вся сумма значений, связанных со всеми этими разнообразнейшими случаями, вещами и действиями, все это обозначалось этим междометием.

Далее, в социальной жизни, на основе прогресса техники, дифференцирования орудий, трудовых процессов, шло развитие корней. Оно повело к тому, что слова дифференцировались, содержание понятий стало ограничиваться; без этого никакой прогресс организации производства не был бы возможен. Значение слов стало приобретать бо́льшую устойчивость. И теперь мы располагаем бесчисленными словами, которые выражают различное содержание, без прежнего смешения.

Но эта дифференциация имеет свои границы. Она не идет так далеко, чтобы действительно каждое слово получило определенное, строго фиксированное значение. Этого, конечно, нет и никогда не получается. Этого быть и не может, и даже, я скажу, этого быть не должно. Даже при очень высоком развитии мышления было бы в высшей степени невыгодным, не полезным для человечества, если бы все слова приобрели фиксированное устойчивое значение. Это было бы, в сущности, величайшим препятствием для прогресса. Вот, напр., открытие Коперника: земля вращается вокруг себя, земля вращается вокруг солнца. Если бы слово «вращаться» имело строго зафиксированный веками смысл, который оно имело до Коперника, что получилось бы? До Коперника каждый человек понимал, что «вращаться» означает известные, вполне определенные зрительные впечатления. Вовсе не так нелепа эта шутка в песне: «Зачем он не напился, тогда бы не было сомнения». Человек употреблял слово «вращаться», когда видел, что что-то вращается. Дело в том, что первоначально слово «вращаться» обозначало именно это, т.-е. не́ только круговое относительное движение, но обозначало и то, что это движение определенным образом воспринимается. Когда Коперник и другие говорили, что земля вращается, это было прежде всего противоречие очевидности, поскольку слово имело фиксированное значение. Они знают, что никакого вращательного ощущения не испытывают, а вращательное ощущение было для них необходимым элементом этого понятия «вращение»; так что, собственно, Коперник, помимо всего прочего, должен был изменить значение слова. Это, если хотите, было наиболее трудной частью его задачи, потому что слово-понятие, означавшее определенное чувственное восприятие, приходилось перенести на такую вещь, которой мы не чувствуем, не воспринимаем. Вот что может быть было всего труднее. Сопротивление тут было всего сильнее, потому что, когда понятие прочно кристаллизовалось в человеческой психике, то оно приобретает характер очевидности и несомненности; и следовательно, борьба за новое значение слова была в то же время борьбой против привычки, которая давала окраску очевидности противоположной точке зрения. Так вот, значит, не только не могут значения слов фиксироваться в устойчивых окончательных, кристаллизованных понятиях, но и не должны; многозначащий характер слов — явление совершенно законное и необходимое. А когда дело идет о рассуждении, там фигурируют слова-понятия, которые сменяются большой цепью. Возникает интересный для нас вопрос о том, что же происходит с этими значениями, остаются ли они, могут ли они оставаться в ходе рассуждения одинаковыми?

Возьмем какое-нибудь слово-понятие очень общего характера, например, «человек». Вот, я черчу схему, которая изображает его строение: вот здесь — слово, а здесь — его содержание, связанные с ним ассоциации представлений. Слово устойчиво, оно остается, оно тоже и меняется, но все-таки оно неизмеримо устойчивее того, что им обозначается. К этому слову прикреплено, ассоциировано с ним содержание, которое слагается из бесконечно большого количества материалов прежнего опыта, относящихся к человеку. Это, конечно, очень общее понятие; ему подчинен ряд более частных. Человек может быть взят с точки зрения, скажем, его видового организма, как млекопитающее, двуногое и проч. Это одно значение. Может быть взят, как существо, скажем, мыслящее, или как существо социальное. Фактически все это входит сюда. Мы человека знаем с этой, с другой, с третьей стороны. Все это частные понятия, входящие в это общее. Кроме того, по другим линиям мы можем иметь обобщение различных рас, скажем, европеец, негр, малаец, монгол, затем можно взять: мужчина, женщина, ребенок, и еще целый ряд линий. Все это зафиксировано одним этим скелетным комплексом (так я обозначаю его потому, что это действительно нечто вроде скелета). Тут мы получаем бесконечно разветвляющееся дерево с множеством отдельных основных стволов. Человек берется там в разрезе индивидуальном, здесь в видовом, коллективном, в расовом (это совсем другой принцип классификации), здесь в сексуальном, возрастном. И за всеми этими бесконечными разветвлениями дерева, где-то там, далеко, в конце первичные восприятия и представления, первичные комплексы, которых бесчисленное количество.

Так вот, вы имеете, такую сложную, как бы «косматую» систему, в которой вот это [1] устойчиво, а все остальное представляет из себя собранное веками, кристаллизованное, но во всяком случае гибкое, пластичное, изменчивое содержание. И вот, допустим, вы это самое понятие предполагаете вводить в систему рассуждений. Что же, вы можете его все, целиком ввести туда? Вы мыслите словами, направляя активное внимание на их смысл, на связанные с ними представления. Что же, оно все это может охватить сразу? Конечно, не может. Что же получится? Слово будет фигурировать в рассуждении, а волевое внимание будет освещать только некоторую часть содержания. Этот прожектор сознания даст только полосу света, охватит очень малую часть конкретного содержания этого понятия, плюс тенденция охватить то, что дальше за этой частью скрывается; а целое не только в освещенную полосу, но даже в поле этой тенденции не может войти полностью. Результат получается тот, что вы будете мыслить человека в одном

[1] Указывает на чертеже часть, обозначающую собственно слово.

случае как существо биологическое, в другом случае, допустим, вы думаете о человеке с точки зрения волевой, и у вас отпадает то, что входит в понятие человека, как существа мыслящего, или человека, как существа социального; это отпадает, не попадает не только в самое поле вашего внимания, но даже в ту область, где слабо мерцает близкий к полю сознания материал, который полуосвещается лучом этого прожектора, волевого внимания.

Допустим, вы начнете философствовать и говорите: я человек, я мыслю, следовательно, я существую. Тут «человек» выступает как понятие с совершенно особым содержанием. Ясно, что он берется не как биологическое существо, не со стороны физиологии, не со стороны даже социальных отношений, а только — как существо, занимающееся этим самым делом — философствованием. При чем даже совершенно безразлично, имеет ли он человеческий образ, или нет, будет ли он похож на человека, или нет. Прожектор вашего внимания охватывает только то, что с этим особым делом связано. У вас в это время поле материала ограничивается тем, что прямо связано с философствованием; может быть оно будет несколько шире может быть вы будете еще различать разные формы, разные виды мышления, разные виды философствования, но так или иначе, это будет ничтожная часть целого, при чем устраняется прочее содержание. А когда вы определяете человека, как делателя орудий, вы видите человека только как коллективно-трудовое существо: в поле вашего внимания попадает только эта сторона и то, что с ней связано, и это уже совершенно другое содержание. Заметьте, что каждое из них в высшей степени условно и изменчиво. Посмотрите, до какой степени оно односторонне, как расходятся эти значения. Когда вы говорите: «человек — существо, делающее орудия», когда с этой точки зрения подходите к человеку, вы повидимому упускаете тот факт, что громадное большинство людей не делает орудий. Кто из вас делает орудия? Очень мало кто. Но дело в том, что тут идет вопрос о коллективном существе, человек взят с точки зрения коллективной, а именно в коллективе он выступает, как производитель, делатель орудий. В этот момент упускаются из виду все остальные моменты значения, связанные с этим понятием.

Или, напр., просто возьмем какой-нибудь разговор, какой-нибудь спор. Допустим, кто-нибудь говорит, что все люди равны. А другой ему возражает: «что же, я равен всякому идиоту?» Ясно, что у них понятие «человек» взято совершенно различно. Один имеет в виду систему отношений человека к другим людям, человека коллективного, и притом в известных идеальных условиях, а другой имеет в виду человека, как существо индивидуальное и существо мыслящее. Они употребляют одно и то же понятие «человек», но в то же время это понятие имеет у них совершенно разное значение. И такие различия можно считать, по общему правилу, совершенно неизбежными тем в большей мере, чем общее понятие, т.-е. чем его значение более обширно, более разветвлено и более расходится по разным направлениям. И, заметьте, что я тут взял лишь несколько возможностей из очень многих. В сущности слово «человек» имеет вовсе не только эти три-четыре значения: существо биологическое, индивидуальное, мыслящее, коллективное. В сущности, каждое из них, когда вступает в поле сознания, когда применяется рассуждающим в рассуждении, каждое опять-таки имеет несчетное количество оттенков. Вы можете охватить это значение только сообразно своей сумме опыта. Эта сумма опыта совершенно различна у людей, так что, когда два собеседника даже возьмут условно какое-нибудь одно значение, его оттенок все-таки окажется у них разный. Пусть оба рассматривают человека, как существо, делающее орудия, все равно получится совершенно различное значение, совершенно разное содержание этого понятия у человека, который сам делает орудия, и у человека, который никогда не делал. Совершенно разные значения имеет данное понятие, и все они фиксируются одним словом, — все это вокруг одного слова движется. Таким образом, можно сказать, что всякое общее понятие имеет много основных значений и бесчисленное множество оттенков.

Конечно, мышление научное по своей сущности стремится к строжайшему ограничению понятий и этого в значительной степени достигает. Но все же и в научном мышлении все сколько-нибудь общие понятия многозначащи. Иначе и быть не может, опять-таки потому, что это — понятия, социально создавшиеся, а люди в обществе имеют различный опыт, люди дифференцированы. Значит, социально создающееся содержание какого угодно научного понятия будет обязательно различно у разных людей, а кроме того, оно будет обязательно различно благодаря разному применению, будет развиваться в разные стороны. И вот, когда вы применяете строго научное понятие, никаким образом не надо обольщаться мыслью, что выражение, вами употребляемое, не многосмысленно. Нет. Всякое такое понятие, возьмем самое отделанное, самое испытанное в научном развитии, — мы можем взять любое, — вы увидите, что оно многозначаще.

Возьмите, напр., понятие материи в строго научном применении, не философском (я строго различаю понятие материи в научном и в философском понимании). Возьмем его в кинематике. Там его содержание сводится к «твердой, неупругой точке» или системе таких точек. Уже иное оно в кинетике, более сложной форме механики: там это — понятие массы, которое в кинематике отсутствует. А само понятие массы опять-таки не одно. Совершенно несомненно, что понятие массы у старых физиков ньютоновского типа совершенно иное, чем, напр., у тех физиков 70 — 80-х г.г., которые, как Мах, определяли массу как «коэффициент, обратный ускорению». У большинства старых физиков «масса» означала нечто реальное, совершенно самостоятельное, нечто такое, чем определяется ускорение. Мах отыскивал более точное определение, и этот физик, чрезвычайно точно мыслящий и чрезвычайно умело находящий характеристические черты, нашел что гораздо правильнее определить и обозначить массу через ускорение. При одинаковом воздействии большая масса будет иметь меньшее ускорение, а меньшая масса большее; это и выражает формула «коэффициент обратный ускорению». Ясно, что материя в этом понятии имеет весьма сокращенное, если можно так выразиться, содержание.

Это в механике Возьмите теперь развитие понятия материи, когда оно стало электродинамическим,—при чем, однако, и те прежние значения сохраняются в науке. Когда вы изучаете механику, вы пользуетесь старым механическим понятием материи, не электродинамическим. Переходя же к нему, вы получаете еще ряд значений. Во-первых, можно рассматривать материю, как комплекс атомов, понимать ее таким образом, что материей вы называете систему атомов, т.-е. элементами материи будем считать только целые атомы. Возьмем некоторый тип строения атома, напр., простейший водород; он состоит из ядра — протона, вокруг которого вращается электрон. Будет ли это материя—в отдельности протон или электрон? Вы можете их рассматривать, как электрические заряды, и только, и говорить, что это не материя. Иногда физики и понимают материю таким образом, что только атомы рассматриваются, как элементы материи. В других случаях они скажут, что элементами материи являются сами электрические заряды, что это и есть элементы материи; т.-е. они материю отождествляют с электрическими зарядами. Если будут разговаривать два физика, из которых один понимает материю, как атомы, а другой, как протоны и электроны, они друг друга могут не понять. А если человек иногда по условиям, направляющим так или иначе его внимание, в рассуждении заменит одно значение другим, он даже не заметит этого, потому что и в том и в другом случае то, о чем говорится, он обозначает, как «материю».

Но этого мало. Теперь достаточно выяснено, что лучистая энергия по меньшей мере эквивалентна материи; возникает вопрос: не следует ли считать материей силовые линии, которые выбрасываются в виде радиации, когда электрон соскакивает с одной орбиты на другую, когда происходит излучение? Что лучистая энергия эквивалентна материи, мы принимаем потому, что если материя в обычном смысле, какое-нибудь «тело» поглотило некоторое количество лучистой энергии, выброшенной вибрирующим электроном, оно получает прирост материальной массы, его масса увеличивается. Совершенно естественно, что и эти силовые линии, как элементы лучистый вибрации, могут считаться тоже материей, и тогда понятие материи будет еще третье.

Но есть и четвертое,—такое понятие материи, которое включает в себя эфир, или, у релятивистов, «пространство». Опять-таки тут мы имеем совершенно иное представление. Большинство физиков, может быть, скажет, что эфир не материя, что пространство, пустота, не является материей. Густав Ми говорит, что в сущности пустота — это не что иное, как однородная среда, а «материя», т.-е. протоны и электроны, представляет лишь пункты максимальных напряжений в ней. Таково четвертое электродинамическое значение материи. И все эти значения, однако, научны. Допустим, что точка врения Ми не разделяется многими, но она представляется совершенно законной и вполне сравнима с одной из прежних. Прежде, в доэлектронную эпоху, существовало воззрение, старое воззрение Кельвина, по которому единственную материю представлял именно эфир, а атомы — вихри в эфире; очевидно, это более или менее соответствует новой дифференциации понятия, которая получилась в воззрении Густава Ми. Во всяком случае мы имеем 5-6 научных понятий, и все они научны в достаточной степени. Хотя одно или два из них можно назвать гипотетическими, но во всяком случае понятия, наиболее принятые сейчас, понятия атомное и электронное, и понятие, включающее силовые линии, эти понятия материи вполне научны, и ни одно из них не может быть выброшено. И все они могут совершенно законно фигурировать в рассуждениях, и все они могут сменяться так, что вы не уловите, где вы перешли от одного к другому. Таковы научные понятия, самые точные.

Возьмем философские понятия. О них можно сказать прямо, что они наиболее многозначащи, что их значения бесчисленны, что иначе не бывает и быть не может по той причине, что в общем историческом развитии нет тенденции к строгому, точному дифференцированию этих понятий. Почему? Потому, что они не то, что научные понятия, которые дифференцируются на опыте, в наблюдении, в эксперименте. В науке, если устанавливается понятие материи, оно устанавливается на опыте. Если во времена Лавуазье оно приобрело определенный характер, выражающийся в том, что называлось неуничтожаемостью материи, то это было установлено на опыте, и «материя» таким образом получила определенное, реальное значение. А философские понятия характеризуются как раз тем, что в эксперименте, в опыте они проверки не получают. Следовательно, тут нет тенденции строгого и последовательного уточнения, которая существует в области научных понятий. И тут уже мы имеем дело,—в особенности, если принять во внимание роль философских построений,—мы имеем дело с колоссальным произволом, т.-к. эти понятия в значительной степени исторически преобразовывались с каждой системой.

Возьмем то же понятие «материя», но как философское. Так вот, напр., если вы возьмете нынешние школы, хотя бы плехановскую, там даже официально признается, что понятие «материя» имеет два значения. Одно гораздо более общее, которое охватывает все бытие, другое относится только к физическим явлениям. Я не ручаюсь за полную точность формулировки, но во всяком случае,—здесь имеются представители этой школы,—во всяком случае я точно помню, что у Деборина это разграничение имеется. Возьмите, однако, применение этого понятия в историческом развитии. Вы найдете, напр., противоположение материи форме. В самом обычном теперь значении материя противополагается духу, но в другом, очевидно, значении можно противоположить ее форме, как представляется дело у Аристотеля. Если говорят, что развитие социальной жизни определяется ее «материальной основою», при чем под этим подразумевается техническая и хозяйственная деятельность, где явления «духовного» порядка несомненнейшим образом участвуют,—то мы имеем, несомненно, еще иное понятие. И когда говорят о «материи», мы не можем знать наверное, какое из них тут фигурирует.

И я беру еще только самые грубые очертания. На самом деле значений несравненно больше, потому что у каждого есть бесконечное

множество оттенков, сообразно индивидуальному опыту, сообразно условиям, которые в данное время направляют сознание и мысль человека. Значения на деле бесчисленны. Возьмем самое обычное слово, фигурирующее очень часто и в философии, такое слово, как «вещь». Вещь выступает в нашем мышлении, иногда, как антитеза мысли. «Вещь» и «мысль» — таково позитивное определение опыта: опыт состоит из вещей и мыслей. А с другой стороны, мы говорим: «вещь материальная» и «вещь идеальная»; тут и мысль оказывается вещью, только идеальной. А когда нам говорят о «вещи в себе», это ни то, ни другое, потому что она противополагается уже всякому явлению, всему воспринимаемому, познаваемому. Там первоначально в опыте противополагалась вещь мысли. Потом мысль стала идеальной вещью, так что «вещь» охватила весь опыт. Потом она вышла и за пределы опыта, как «вещь в себе». Вы видите, что это совершенно различные значения. И когда нам говорят о «вещах», то, если мы имеем дело с философским рассуждением, мы не можем знать, какое перед нами из этих значений. Я взял их только три, но совершенно ясно, что для тех же «вещей» есть бесчисленное количество обывательских оттенков.

То же можно сказать относительно других терминов, любой из них может получить множество разных значений. Вот, напр., играющее теперь несообразно большую роль в советской философской литературе слово «качество». Оно употребляется миллионы раз в совершенно неопределенных значениях. Слово «качество» что-то обозначало в старое время, а если его анализировать сейчас, то вы увидите, что люди, даже не спорящие между собою, как будто принадлежащие к одному оттенку, совершенно разно его понимают, употребляют его в совершенно несходных значениях. Что значит «качество», «качественное различие»? Это может быть различие принципиальное, различие по существу,—так его некоторые понимают,—такое различие, как «материя» и «дух», различие двух миров: это одно значение слова «качество». Возьмите другое значение, скажем, звук и свет отличаются между собою «качественно». Ясно, что они принадлежат к одному миру, но имеется различие в элементах, в самом материале; это тоже называется «качественным различием». Но если вы скажете, что тембр звука есть его «качество», и проанализируете, что это значит, вы увидите, что здесь дело идет о разнице в структуре. Тембр всецело структурное понятие: разные тембры—это различные комбинации тонов, обертонов, унтертонов. Если теперь вы скажете, что жизнь отличается от неорганической природы «качественно», то мы не знаем, что вы хотите сказать. Подразумеваете ли вы такую вещь, что живое отличается от неживого так, как «материя» от «духа», или что живое от неживого отличается так, как звук от света,—и это ведь тоже качественное различие. Или живое представляет такую комбинацию, которая значительно усложнена и этим отличается от неорганического мира, его структур и комбинаций подобных же элементов, при чем для познания живого могут требоваться иные методы, и приходится устанавливать другие, особые закономерности вследствие этого усложнения. В результате, когда говорят о «качестве»,— что имеется в виду, вы никогда наверное не знаете. В спорах постоянно видишь: одни говорят, что жизнь—усложненный физико-химический процесс, другие говорят: «нет, это понимание—грубый механизм, тут имеется качество другое». И ясно, что слово «качество» имеет у тех и других разное значение. Первые говорят тоже о «качестве», но употребляют это слово в смысле структурного различия, другие хотят видеть такое, напр., различие, как между светом и звуком. Может быть, в конце концов, этот спор представляет мало интереса об'ективно, но теперь он очень большую роль играет в литературе.

Так употребляется слово, которое по существу в высшей степени многозначаще,—потому что кроме указанных значений часто «качество» означает еще простые оттенки. Вы можете известный цвет более насыщенный и менее насыщенный рассматривать, как цвет разного «качества», но это будут только оттенки. Или если свет разных цветов смешан, то мы получаем иные разные оттенки, и опять-таки это будет «качество». Если внимательно рассматривать дело, то окажется бесчисленное число значений, и все они научного значения не имеют, потому что этот термин вообще потерял научное значение. Во всяком случае, чтобы он мог его иметь, раньше надо обязательно решить вопрос, что вы называете качественным различием? Структурное ли только различие, или вы имеете в виду принципиальную разницу в самом материале, из которого что-то делается или состоит? А когда употребляют слово «качество», как вещь, саму по себе вполне понятную, ясно, что рассуждающие не отдают себе отчета, что они говорят.

Надо заметить, это вообще судьба философских терминов, что они из философских, все-таки в некотором роде научных, превращаются потом в обывательские. Эта судьба постигла и термин «качество». Это безусловно обывательский термин, который никакой научной ценности, никакого научного значения не имеет. И когда его употребляют без анализа, когда в спорах бросаются им, швыряют друг в друга, то мы можем сказать, что люди занимаются, может быть интересным, но словесным спортом, потому что говорят они собственно о разных вещах. Да и вообще я должен сказать, в зависимости от культурного типа, от навыков, от содержания опыта, все слова в устах разных людей имеют разное значение. Мне, напр., часто приходилось наблюдать, что и самое слово «доказывать», «я хочу нечто доказать», что эти слова имеют различное значение у разных людей. Представьте себе такую вещь. Я нечто утверждаю, привожу такие-то факты, такие-то данные, доказываю. Я понимаю таким образом, что это называется доказательством,—факты свожу, систематизирую, проверяю. А мне на это отвечают, что такой-то и такой думали иначе и приводят цитаты, говорят, что Маркс в 66 году написал то-то, Плеханов в 1906 г.—то-то, Деборин в 1916 г.—то-то, Вайнштейн в 1926 г.—то-то, и считают, что этим «доказывают» мне противоположное. Очевидно, здесь слово «доказательство» имеет совершенно разное значение. Прибавлю, даже слово «полемика» имеет разное значение. Мне говорят, что вот эти возражения полемика против меня. Но я мог бы догадаться об этом только по сопровождающим эпитетам, а по существу это как будто даже не полемика, это как будто дружеский совет: «смотрите, какие специали-

сты, знающие, компетентные, высказывают другую мысль, не имеют ли они каких-нибудь фактов, которых вы не учитываете?» Это не полемика, это дружеский любезный совет. Это значит, что мои оппоненты иначе понимают слово «полемика», слово «опровергать». Люди разных культурных миров совершенно различно понимают эти термины.

Так вот, все это нас приводит к тому, что если мы имеем рассуждение, то перед нами производство некоторого трудового процесса (рассуждение, ведь, тоже трудовой процесс), в котором применяются орудия и материалы переменного характера. И затем, что мы можем сказать о качестве продукции? Хорошо выйдет, или нет? Мы говорим о рассуждении. Что такое рассуждение, большое рассуждение? Это целый ряд звеньев. Мы можем взять один силлогизм. В нем можно найти чуть не все логические ошибки. Там есть и petitio principii, и quaternio terminorum. Возьмем самый простой силлогизм там, где он имеет какой-нибудь реальный смысл. Вы нашли в поле микроскопа клетку, по каким-нибудь признакам характера животного. Вы делаете вывод, вы говорите: все животные дышут кислородом, эта клетка, судя по тому-то и по тому-то, животного характера, значит, надо полагать, что она дышет кислородом. Вы можете поставить потом вопрос о кислородном обмене этой клетки. Вот видите, во-первых, тут есть petitio principii, и с точки зрения строго логической, потому что, хотя вы знали до сих пор массу животных клеток но этой вы не видели. Как вы можете утверждать, что они все входят в число дышащих кислородом, когда вы этой клетки и, может быть, даже такого вида клетки еще не видали? Прежде у вас имелось одно значение этого термина «все животные». А сейчас, когда вы нашли новое животное, эту ли клетку или иное животное, когда вы нашли это новое животное и применяете к нему этот термин, вы уже изменили содержание этого понятия. И когда вы здесь, в силлогизме, говорите, что С соответствует А, вы в сущности совершаете ошибку, которая называется quaternio terminorum. Вы изменили содержание промежуточного термина, в данном случае, термина «животное». Это может показаться смешным: видели миллиард животных, уж одно новое характеристики не изменит. Ну хорошо, мы миллиард животных видели, а ведь бывает и такая вещь: вы видели нечто всего в двух экземплярах, а о третьем уже делаете вывод. Может оказаться, что вы тогда совершенно измените содержание понятия. Если у вас было всего три экземпляра и вы делаете вывод по этому типу, тогда опыт вам, весьма вероятно, покажет, что ваш силлогизм содержит серьезную логическую ошибку. А что petitio principii здесь есть, это ясно: вы новое заранее причислили туда же, к старому, значит считали доказанным то, что надо доказать. И можно все логические ошибки таким образом найти в силлогизме, и все это более или менее законно. Ошибки могут быть маленькие: видели миллиарды животных, новое присоединяем, переносим на него целый ряд признаков, которые свойственны животным вообще; тут ошибка чрезвычайно мало вероятна, но все-таки бывает. Она может оказаться небольшой, а в других случаях ошибка будет очень большая, если вы сделаете обобщение от одного или двух фактов, а потом туда включаете и третий.

Все-таки тут, в одном силлогизме, у нас очень мало материала для ошибки. Но возьмите обычное философское рассуждение, в котором десяток различных звеньев. А находится в такой-то связи с В, В в такой-то связи с С, С в такой-то связи с D и т. д., и т. д. И в конце всего этого ряда оказывается: X должно находиться в такой-то связи с А. Допустим, что тут 10 промежуточных звеньев, и возьмем умереннейшую цифру,—каждый термин имеет всего 5 значений. Каковы же шансы, что рассуждение будет правильным? Шансы просто вычисляются по теории вероятности, один на пять в девятой степени, приблизительно это будет 1 на 2 миллиона. Таковы здесь априорные шансы. И если изменить число значений, я взял 5 значений, это смехотворно малое число,—возьмите на термин всего 10 значений, это будет один шанс на миллиард. В действительности же, мы видели, большинство философских рассуждательских слов имеет гораздо больше значений: философы оперируют терминами самыми общими. Так вот, можете вы себе представить, какова вероятность научного характера для последнего вывода? Она убывает, как говорится, лавинообразно, в геометрической прогрессии, с числом промежуточных звеньев. И значит всякое рассуждение, которое состоит из нескольких звеньев и которое не проверяется на опыте, как будто оно априори должно быть просто признано правильным, не ценно, не научно, потому что шансы—один на миллионы и миллиарды, это шансы первого выигрыша в займе, или даже постоянно повторяющегося первого выигрыша за все время существования займа, т.-е. практически тут никаких шансов нет. Между тем, в большинстве философских рассуждений вы имеете длинную цепь звеньев, сплетающихся, параллельных, перекрещивающихся, комбинированных,—и затем из всего этого делаются выводы. Ни эта цепь не проверяется на опыте, ни выводы, да они, обычно, и не доступны проверке: они касаются какого-нибудь «качества» или «вещи в себе», а это никак не проверить. Чего же собственно это стоит?

Я приведу вам пример для того, чтобы это было яснее—пример более конкретный. Возьмем такого гениального мыслителя, как Гегель, мыслившего с величайшей строгостью и точностью; нынешние неогегелианцы едва ли обладают такой точностью мышления; это мало вероятно. Возьмем первую триаду Гегеля в его «Логике». Это: «бытие»—«ничто»—«становление» («бытие» в ней принимается как «чистое»). Такова эта триада. Логика Гегеля представляет диалектику понятий, диалектика же эта выражает саморазвитие понятия. Это в произведении, которое, кажется, бешено изучается в настоящее время, к величайшему несчастью нашей молодежи. Так вот, возьмем первую триаду Гегеля. Вот «бытие». Оно неопределенно, если его взять в чистом виде, оно в сущности оказывается «ничто», потому что бытие, которое есть только бытие и ничего в нем нет иного: нет никакого качества, никакой характеристики – никакой, так сказать, действительности, «бытие» это ничего не значит, это все равно, что «ничто», Nichts. Но, позвольте, тут может быть задан вопрос, который тогда Гегелю было бы смешно задать, но сейчас мы задать можем. Мы знаем, что понятия развиваются в социально-трудовом процессе, что понятие «бытия»

что-то такое по отношению к нему должно означать. Оно должно иметь некоторое реальное значение. Когда мы говорим о «бытии», что мы под этим подразумеваем? Мы подразумеваем под этим, что это нечто такое, с чем приходится считаться. «Это есть»—значит, что мы в своей практике должны «это» учитывать. Скажем, «есть» в обществе такое-то настроение. Мы его учитываем, мы должны практически с ним считаться. «Есть» такой-то предмет, мы должны с этим предметом считаться. Мы можем встретить сопротивление со стороны их, нам нужно усилия по отношению к ним: вот что обозначает «бытие». Бытие всегда обозначает именно это, и самое слово приобрело такое значение во всем трудовом процессе человечества: нечто такое, с чем практически приходится считаться; что практически требует усилия; что практически представляет сопротивления. И вы никогда в развитии социально-трудового процесса не найдете иного смысла у слова «бытие». Оно не может быть отнесено к тому, что не требует никакого усилия, что не требует активности, что не сталкивается с нашей активностью. Только так понимается бытие. Это его действительное значение, не просто историческое, не просто в данное время сложившееся, а выработанное целой историей человечества, и мы «бытием» ничего другого назвать не можем. Теперь посмотрите, что Гегель сделал с понятием «бытие». Он взял это понятие и лишил его всякого содержания, превратил его в понятие «чистого бытия», оставил только голую форму бытия. Но допустим ли такой метод? Ясно, что он взял и на наших глазах подменил содержание понятия. Он из понятия «бытие» вытащил все, с чем надо считаться, что требует усилий, и получил «бытие чистое». Например, представьте себе, у человека имеется волосяной покров на голове. Мы бы у него выдрали все волосы и сказали бы это «чистый» волосяной покров. Это бессмыслица. Нельзя утверждать понятие, когда вынули все содержание. Он сделал такую вещь, убивши слово в его настоящем первоначальном значении, он из него вынул все, что составляло его содержание. Тогда это совершенно не то понятие, это просто незаконное употребление слова. Он в этой самой схеме, которую мы взяли, скелет слова, плюс разветвляющееся значение, все кроме скелета уничтожил и, конечно, получилось «ничто». Но дело в том, что он это «ничто» не имел права определять, как «бытие», хотя бы и «чистое». Затем у него следует вывод: единство «бытия» и «ничто», их взаимный переход одного в другое, это—«становление». Если мы имеем бытие и ничто, то можно себе представить, что переход от одного к другому есть становление. Но дело в том, что он взял определение к бытию «чистое»—как отрицание, в смысле «nicht» и конечно, получил значение «Nicht-Sein» или «Nichts». Какое же становление, какой между ними процесс? Было отрицание бытия, и получилось то же самое. Никакого процесса нет. Он говорит, что «чистое бытие» переходит в «ничто». А на самом деле оно вообще ни во что у него не может перейти. Бытие есть бытие. Если он его заменил «ничто», взял это слово с отрицанием, при чем устранил из него всякое возможное содержание, то он уже незаконно употребляет это слово. И незаконно употребивши это слово, за тем, чтобы получить нечто новое, он включил

обратно часть содержания, потому что между тем и этим полным отсутствием бытия, в виде «чистого бытия» и в виде «ничто», никакого даже логического процесса быть не может, а чтобы происходил процесс, для этого надо в первом из них что-то вернуть из прежнего содержания. Другими словами, он на наших глазах два раза менял значение слова, и благодаря этому у него получилась диалектика понятия. Первый раз он взял бытие в качестве неопределенного «бытия» и уничтожил все его содержание. Второй раз вложил что-то, какие-то остатки прежнего содержания; в третий раз опять вынул, и получилась триада.

Если бы мы спросили об этом какого-нибудь сторонника марксизма, он бы сказал следующее: «Вообще о саморазвитии понятий не может быть речи. Как это может быть, когда понятия, как мы знаем, определяются общественным бытием, т.-е. процессом техническим и хозяйственным, который развивается первично, и только в зависимости от него может развиваться общественное сознание. А раз общественное сознание развивается в зависимости от общественного бытия, то какое может быть саморазвитие понятий? Никакого не может быть». Потом этот сторонник марксизма сказал бы, что, следовательно, такая диалектика понятий не может ни в коем случае быть ничем иным, как простой игрой со значениями понятий. Конечно, эта игра может быть очень остроумна, мыслитель может искусно комбинировать эти значения, незаметно заменять их таким образом, что это будет подходить к его целям; но только это и будет, ничего другого диалектика понятий представлять не может. И, конечно, это должно быть ясно для каждого сторонника марксистской точки врения.

Многие философские вопросы возникают только благодаря анаголичному употреблению слов. Мне пришлось слышать на прошлом докладе упоминание вопроса о реальности внешнего мира, вопроса о субстанции, как первых и основных для философии. Все подобные вопросы возникают на почве слов и относятся к числу пережитков донаучного прошлого.

Возьмем вопрос о «реальности внешнего мира». Здесь опять-таки слова должны что-нибудь обозначать. Каково значение слов «внешний мир»? Если бы мы придавали им пространственное значение, мы считали бы: внешний мир, это то, что вне нашего тела,—остальные тела, что ли. Но это не «философское» значение. В философии, ведь, и наше тело относится к внешнему миру. Мыслящий говорит: «Я мыслящий, а затем все, начиная с моего тела, это внешний мир». Хорошо, пусть будет так. Что же это означает? Это означает, что я сам, мыслящий, со своими психическими ассоциациями оперирую более или менее свободно, а разные входящие в мой опыт вещи, в том числе даже мое тело, меня так легко не слушаются: они обладают своей закономерностью. Слово «внешний» здесь имеет значение другой закономерности. Это не та закономерность, которая определяет процесс мышления, а другая, с которой следует особо считаться, которая требует от нас усилия, может причинять неприятности. Вот что это означает; другого значения не имеет и иметь не может.—Затем говорят о реальности. Другой термин вопроса: «реален ли» внешний мир? Что же мы называем реаль-

ностью, вещественностью? Здесь вопрос идет о вещах в таком смысле: это вещи, с которыми надо практически считаться, которые представляют сопротивление, которые не укладываются в ассоциативном порядке, на которые надо тратить активность, которые имеют свою закономерность. Но это—то же самое, что характеристика «внешнего мира». Оказывается, вопрос о реальности внешнего мира, это вопрос о реальности реального, о внешности внешнего. При анализе значения его терминов вопрос этот отпадает просто потому, что оказывается пустым, сводится к тавтологии.

Или допустим, такой вопрос: о «вещи в себе». Когда-то (я с грустью об этом теперь вспоминаю) я сам участвовал в спорах о вещи в себе, писал целые статьи по этому вопросу. Но это было давно, сейчас я считал бы в высшей степени бесполезным о таких вещах спорить. Что такое «вещь»? Слово «вещь» выработалось в социальной жизни человечества, в трудовом процессе, в опыте, который есть труд. Я цитирую одного ортодоксального марксиста: «В процессе труда, который есть опыт, и опыта, который есть труд, человечество познает все, что ему надо и полезно знать». В этом процессе выработалось и понятие «вещи». Какова была судьба его? Вещь, с которой на практике надо считаться, вещь «внешняя», которая представляет сопротивление, требует усилий, это одно значение. Другое значение, это—«идеальная» вещь. С этим еще можно примириться, потому что в сущности с идеальной вещью, с понятиями практически считаться надо, они тоже сопротивление, хотя не такое, как те, но могут оказывать, могут воздействовать на рассуждающего, поэтому во всяком случае их вещами признать еще можно Затем оказывается: — «вещи в себе», вещи за пределами всякого опыта. Но, позвольте, понятие о вещи выработано в пределах данных опыта, из опыта, и ниоткуда больше оно взяться не может. Однако, Кант, а за ним и другие, говорят о вещах в н е опыта, з а опытом, о «трансцензусе». Это выражение «трансцензус» и в нынешней философии употребляется Но ведь тут совершенно незаконное употребление слова «вещь». Как же его можно употребить таким образом? Значит вопрос этот создан искусственно. Дали слову значение, которого оно иметь не может, потому что сложилось в процессе труда, который есть опыт, и опыта, который есть труд: и нельзя относить его туда, где этого нет, и где ничего собственно нет.—По поводу этой же вещи в себе мне припоминается, как один товарищ спросил: «А что, у всех вещей есть это самое «себя»? Это в сущности совершенно законный вопрос; и, может быть, в те времена было бы полезно вместо спора поставить такой вопрос: «А что, имеется ли у вещей это «себя»? Ясно, что у некоторых имеется, а у других нет, и что тут еще злоупотребление возвратным местоимением. Такой легкий анализ это устраняет.

Так вот—«цепи рассуждений»... Какова их ценность? В науке цепи рассуждений существуют и играют большую роль. Но ведь в науке понятия другие, не философские, а веками вырабатывавшиеся с постоянной проверкой на опыте. И все-таки даже в математике, вы знаете, напр., очень многие доказательства правильных теорем при исследовании оказываются неправильными, «некорректными», как выражаются математики. Теорема верна, закон существует, а доказательства ошибочны. Характерны бесчисленные доказательства 11-го Эвклидова постулата о параллельних линиях. Большая часть этих доказательств построена таким образом, что где-нибудь в ходе рассуждения незаметно вводится, как очевидное, какое-нибудь положение, на самом деле в ы т е к а ю щ е е из этого постулата. Но доказательство это по существу всегда неверно, потому что дело идет о недоказуемом рассуждениями, о том, что надо было узнать из опыта и что узнано из опыта. В математике бывал часто пересмотр целого ряда доказательств, и в конце концов оказывалось, что даже в учебниках—в старых учебниках—приняты некоторые доказательства, которые некорректны, неправильны: выводы правильны, а рассуждения, ведущие к ним, неправильны. В механике и физике есть хорошие этому примеры. Напр., Мах в его «Механике» анализирует обычное в учебниках доказательство теоремы о равновесии рычага, два плеча которого не равны, а моменты силы равны: на коротком плече висит большая тяжесть, а на длинном плече меньшая. Мах показывает, что все эти доказательства сводятся к одному: в одном пункте рассуждения в замаскированной форме принимается доказанным то, что надо доказать, это делается с помощью той же игры словами и понятиями: принимается, как очевидное, что-нибудь, основанное на том, что надо доказать. Таким образом доказательство правильного положения сводится к petitio principii: то, что надо доказать, дается в такой форме, в которой кажется очевидным. Вот к чему это сводится. Там, в естественных науках, еще таких доказательств сравнительно мало: там, вообще, чем точнее наука, тем в ней меньше применяются доказательства путем только рассуждения.

Как же все-таки может быть, что цепь рассуждений неверна, неправильна, значения подменяются, но выводы все-таки правильны? Тут может быть два случая. Во-первых, конечно, случай может быть такой, что изменения очень незначительные и суммируются они в небольших ошибках, так что получаются относительно правильные выводы. Еще чаще происходит так называемая «компенсация ошибок», т.-е. рассуждение ошибается в одну сторону, ошибается в другую сторону, и в результате ошибки компенсируются. У китайцев есть хорошая поговорка: подумай направо, подумай налево и решишь правильно. Китайцы мудрый народ, они понимают, что рассуждать совсем без ошибок нельзя, понимают, что если уклониться в одну сторону, уклониться в другую, то может получиться правильное решение. Но дело в том, что, хотя может быть получен правильный вывод даже при ошибочном ходе рассуждения, заранее мы не можем этого узнать, если мы не проверили на опыте; а если проверим на опыте, то, конечно, становится уже не важным вопрос, почему вывод из рассуждения оказался правильным, а ошибки скомпенсировались.

Теперь приходится сказать вот о чем. Мы все-таки знаем, что великие философские системы имеют, или по крайней мере имели, громадное историческое общественное значение, они дали очень много для развития человечества. А между тем это были, конечно, огромные цепи

рассуждений, с чрезвычайно малым участием экспериментально-опытной проверки, и часто на очень узкой базе данных. В чем тут дело? Дело в том, что научной ценности они все равно не имеют и не имели, но они имеют ценность другого порядка. В них есть иная социально-идеологическая ценность, а не научная, не та, о которой мы говорили. Она сводится к тому, что в этих великих системах чрез огромные провалы в знании и в опыте,—у людей тогда было мало знаний и опыта,—через огромные пробелы строились мосты рассуждений, так что получалось нечто цельное. Что же это было? Это, в сущности, были познавательные утопии, монистические утопии, которые давали идеал цельного стройного познания. А идеал этот действительно высокий идеал, и стремиться к нему надо, и наука к нему стремится. Таким образом, давая этот идеал, они играли в области познания такую же роль, как в жизни — утопии социальных утопистов, дающих идеал будущего, прообраз будущего, к которому надо стремиться; и людям легче итти к этому будущему. Это ценность большая, но не научная ценность. И это относится к старым философским системам в старые времена. Какова же их судьба?

Во-первых, они стали ненужны потому, что сейчас нет тех провалов, из-за которых строились тогда мосты. А, во-вторых, поскольку ими занимаются, это большей частью бывает ко вреду.—Недавно сделали открытие, что Спиноза был материалистом, что субстанция Спинозы есть не что иное, как псевдоним для материи в смысле плехановского ее понимания. $2^1/_2$ века, больше $2^1/_2$ веков никто собственно не замечал, что это материализм в смысле Плеханова. Я сомневаюсь, чтобы сам Спиноза мог это думать: едва-ли он предвидел современное понятие материи. Ясно, что если нынешнее поколение открыло, что субстанция Спинозы была «материей», то следующее поколение, может быть, откроет, что сама эта «материя» была псевдонимом бога. В чем тут дело? В том, что слово изменило свое значение. Ясно, что слово «материя» в эпоху Спинозы имело совершенно другое значение, что содержание опыта, из которого исходил Спиноза бесконечно отличалось от современного. Совершенно иное положение было при тех формах мысли, которые сейчас отжили. Просто нелепо пытаться его термины переводить адэкватно современными. Совершенно разная жизнь и разная реальная познавательная и всякая вообще база. Если будущие философы отплатят нынешним тем, что откроют, что под материей скрывался бог, это будет только справедливо. Это будет, конечно, столь же незаконное решение вопроса, хотя и справедливое: оно будет значить, что они не поднялись над нынешними. Все термины Спинозы потеряли свое прежнее значение; вполне понять их может тот, кто может перенестись в ту эпоху, так изучить ее, как мы знаем нынешнюю, только тот может это сделать. По правде сказать, наши философы не очень таким изучением занимаются.

Итак, великие системы были познавательными монистическими утопиями, которые в этом смысле были весьма ценны, хотя эта ценность для нас и утратилась. А рассуждательство тоже в разное время встречалось, оно представляет реакционную утопию. Она состоит собственно в том, что хотят не на научной базе опыта, а на мелких данных, которые привычны данному человеку, которыми обладает такое-то лицо, занимающееся в таком-то кабинете, на этой базе путем цепи рассуждений открыть истину. И мы можем сказать, что научной ценности это не имеет, но принцип тут есть, и принцип глубоко реакционный. Без развертывания опыта, без применения проверки найти истину— это утопия реакционного характера, потому что задачи ставятся противоположно тому, как они должны ставиться, ставятся так, как это могло быть только до поворота колеса истории в сторону научного мышления, которое все это отбрасывает. Рассуждательство, конечно, не случайное явление. Мы знаем большую эпоху рассуждательства, когда оно было более ценно,—это эпоха схоластики. Но мы знаем, почему оно тогда развилось. Это было исторически вынужденное рассуждательство: во-первых, опыт был страшно беден, точных знаний почти не было, база опыта была очень узка; во-вторых, кроме того, в жизни царствовал авторитет, имелись обязательно признаваемые положения, к которым полагалось все сводить. Когда вы имеете мало данных, и кроме того обязательные авторитеты, рассуждать научно не приходится. И заслуга схоластики в том, что она сумела сквозь все это еще провести некоторую критику, известную разрушительную работу, некоторый прорыв этого самого авторитета. В ней было и такое течение.

Во всяком случае, она оправдывается, поскольку к рассуждательству она была исторически вынуждена. Но, когда потом выступили новые волны рассуждательства, это было уже иное. Что же именно? В общем, мы можем сказать, что для всех этих случаев в основе наблюдается одно и то же: отмирание какой-нибудь великой доктрины. Великая доктрина представляет систему удовлетворяющую, драгоценную для известного времени. Затем в свое время она оказывается изжитой, пожалуй, мертвой. Тогда сторонники этой доктрины,—так было, напр., с гегелианством,—сторонники доктрины стремятся ее удержать, это вполне естественно. И тогда, во-первых, они невольно суживают свой опыт, свое отношение к знанию, т. к. им не хочется считаться со всем тем, что не укладывается в старые рамки, те узкие рамки, которые годились раньше. Затем они начинают пользоваться доказательствами авторитарными, потому что иначе им своего не доказать, они начинают апеллировать к авторитету. Получаются те же черты, которые вели и раньше к рассуждательству. Тут органическая связь: бедность опыта, только здесь получающаяся искусственно, и вынужденная авторитарность,—те же мотивы, которые приводят к нищете рассуждательских тенденций. И это, вероятно, всегда будет так. Когда великая доктрина становится недостаточной, наступает ее частичное или полное вырождение. И мы должны каждый раз получать полосу рассуждательства, пока люди не овладеют вполне своим словесным орудием.

Но тут вопрос: обязаны ли мы всему этому подчиняться? Для рассуждательства что характерно? Словесный фетишизм. Словесный фетишизм, это одна из форм фетишизма буржуазного мира. В буржуазном мире товар имеет ценность сам по себе. Эта ценность ему присуща и неизменна. Так же и со словом: слово представляется имеющим смысл

само по себе, смысл постоянный, безусловный. Я назвал это в своей книге абстрактным, отвлеченным фетишизмом. Эта форма фетишизма отливается всегда в тавтологию: истина есть истина сама по себе, потому что в ней заключается истина, так же и красота, благо, сами по себе. Таков и словесный фетишизм, также одна из форм абстрактного фетишизма. Поэтому я и характеризовал в недавнем выступлении рассуждательство, как буржуазную тенденцию. Она буржуазная, собственно, не в том смысле, что она вызвана буржуазными интересами, а в том смысле, что она соответствует буржуазному мышлению, индивидуалистическому мышлению. В нем индивидуум стоит ниже социального комплекса: слово-понятие - социальной комплекс, индивидуум, будучи ниже его, не может видеть его социального характера. Поэтому слово ему представляется чем-то само по себе определенным и ценным, и как он не понимает ценности в товаре, потому что не может уловить социальных отношений, которые стоят за этой ценностью, так он не понимает социальной ценности слова, потому что для него непонятна социальная природа слова. Это просто буржуазный способ мышления. И когда ему подчиняются, то это не есть победа пролетарской, или какой бы то ни было антибуржуазной культуры. Старые великие мыслители, у которых, конечно, надо многому учиться, не понимали, что оперируют словесными фетишами, а теперь всякий мог бы понять, это — как будто нечего и доказывать.

Значит, какие будут наши выводы? Выводы такие: во-первых, ко всякой цепи рассуждений надо относиться с априорным скептицизмом, и, во-вторых, надо сознательно бороться со словесным фетишизмом, сознательно бороться с подменой значений. А ведь этого не делают. Вы видите чуть не сотню терминов в одной фразе, и ни один из них не определен, и даже нельзя их определить: места нехватит. Таким образом, нет никакой действительной борьбы с многозначностью и с постоянной подменой значений; нет и никакого понимания того, что слова имеют смысл не сами по себе, но что их смысл в социальной среде постоянно меняется. Этого сознания нет, и его надо ввести. Но, что еще важнее, надо всякую цепь рассуждений проверять на опыте, через возможно меньшее число звеньев. Даже если вы проверите, но через много звеньев, то огромна вероятность, что рассуждение будет неправильно; а если вы проверяете через два—три звена, и это оказывается верно, то можно итти дальше с уверенностью. Без этой проверки, если цепь не проверена и особенно если не может быть проверена, а таково большинство философских цепей рассуждения,—если опытом ее проверить нельзя, то ее надо просто-напросто признать вненаучной и не научной. Конечно, мне могут сказать: «Вы говорите о научности, а мы говорим о философичности». Я в этих пределах спорить не стану, поскольку для меня дело идет только о том, чтобы рассуждения носили научный характер. Это понятно.

Что же надо изучать? Я видел в литературе, в разных докладах среди большинства молодежи преобладающее знакомство с такими произведениями, как разные старинные трактаты. И вот, невольно подумаешь, хотя бы по поводу этой гегелевской «Логики», я вспоминаю,

чего она мне стоила. Я был тогда человеком молодым, относился к делу серьезно. Вначале я старался каждое положение продумать и понять до конца. Оказалось, что если бы я ее таким образом до конца прочитал, то на это потребовалось бы несколько лет. И в результате я стал читать так, как обыкновенно читают. Меня стала интересовать структурная сторона, самые выводы. Процесс же мышления философа точно воспроизвести в своем сознании невозможно; я понял это тогда, и благодаря этому потратил меньше времени. Я не знаю, как ее читают теперь, но я боюсь, что усиленно стараются понять. Это очень грустно. На устарелую философскую книгу тратится время, которого достаточно для изучения 2—3 наук, что бесконечно более полезно. Следовательно, поскольку из этого получается практический вывод для молодежи, которая к чему-то стремится и для которой истина не есть кабинетный продукт, я скажу: изучать надо не старые цепи рассуждений, хотя бы даже лучшие из них,—надо итти в природу, в жизнь, всякую цепь рассуждений проверять в природе, в жизни, там критерий, там истина, а все остальное, все затраты усилий на то, что пережито и не может быть воскрешено,—это гробокопательство, это вампиризм того, что отжило и что не хочет умирать.

Прения по докладу А. А. Богданова

Тов. **Шатуновский:** Позвольте мне, товарищи, привести для иллюстрации такую простенькую функцию:

$$y = \frac{1}{x}$$

Возьму прямоугольные координаты. Когда x будет очень мал, y будет очень велик. Когда x будет возрастать, y будет быстро уменьшаться. А когда x становится очень большим, y будет очень малым. Когда x станет очень большим, или очень малым, кривая будет очень близко подходить к моим координатам, и может к ним как это видно из чертежа, как угодно приблизиться. Но эта гипербола, которую я тут начертил, как она близко ни подходит к моим прямоугольным координатам, она все же никогда с ними не сольется.

Я привел этот пример для того, чтобы иметь возможность более или менее наглядно высказать ту мысль, что т. Богданов при всем его огромном таланте и огромной марксистской эрудиции, мыслит не марксистски.

Он обладает способностью подходить к нашим большевистским координатам как угодно близко, но никогда с ними не сливается и никогда не сольется. И было бы огромной ошибкой, если бы мы попытались наши координаты заменить этой гиперболой на том основании, что она очень близко к ней приближается, но совершенно, конечно, на них не похожа и представляет собой нечто совершенно от нее отличное.

Путем рассуждений он приходит к необходимости отказа от рассуждений.

Вывод, к которому он приходит, ясно построен на ложной концепции. Он хочет нас запугать тем, что уже при 5 возможных случаях связи вероятность связи именно Д с А представляет собой $\frac{1}{2.000.000}$ Он использовывает для этого теорию вероятности, для того, чтобы сделать нам страшным то наше положение, когда мы рассуждаем. Я возьму другой пример, пример более реальный и более простой, чем его общие концепции: А может быть В, С. Д... и применю теорию вероятности, Тут должно быть налицо положение полного незнания. Теорию вероятности можно применить, только когда мы не знаем, что будет, и поэтому для нас все случаи одинаково вероятны. Возьмем для простоты, что число всех чисел не превышает 1000 и мы не знаем, сколько будет 2×2. Какова вероятность, что это будет 4? Вероятность $\frac{1}{1000}$, такая ничтожная, что можно сказать, что невероятно, что это будет 4, и тем не менее это все-таки 4. Полунаучная теория вероятности не ставит себе таких задач,—из незнания делать знание. Она решает вовсе не вопросы о том, что есть, или что должно получиться, а вопросы о том, как часто что-нибудь может повторяться при большом числе испытаний. И есть такие области, где это решение полезно и нужно. Но применение теории вероятности в таких случаях, как приведенный, — бесполезно. Это применение не там, где теория вероятности имеет право на существование. Тов. Богданов делает, так сказать, ставку не на ту лошадь.

Потом дальше, все наши понятия изменяются, что совершенно верно, они изменяются и отсюда устрашающий нас вывод, чуть ли не такой, что нам нельзя никакими понятиями пользоваться. Я возьму опять простой пример. Сейчас т. Богданов записывает то, что он будет мне возражать. Эрудиции и таланта у него для этого, повторяю, сколько угодно, но для того, чтобы писать, он надел на глаза пенсне и в этих пенсне он видит, скажем, начерченные мною на доске координаты в виде того, что мы называем прямыми линиями. У него есть определенные понятия: прямая линия, угол, круг, плоскость и т. д. Позвольте мне в этом кабинете произвести такой физический эксперимент. С согласия т. Богданова я надену ему очки с волнистыми стеклами, у него тогда понятие о прямом переменится, понятие об угле, о круге, о плоскости и т. д. переменится. Со всеми этими словами у него свяжутся новые понятия, новые образы, а эти геометрические, которыми мы занимались, отпадут, но рассуждение о прямых, окружностях, углах, и т. д. все это остается правильным. Окружность имеет другую форму, но когда я ее циркулем обведу, радиус обладает всеми теми свойствами, которыми он обладал, прямые линии совпадут с плоскостью по всем направлениям, хотя плоскости волнистые и т. д. и т. д. Теперь позвольте мне надеть вам вместо очков с волнистыми стеклами очки другой формы. (Тов. Богданов: «Это компенсация ошибок»). Это не компенсация ошибок. Я просто надену новые очки, я мог бы вместо этого строить

соответствующие факты, я могу этот опыт продолжать достаточно долго, получая все новые и новые понятия. Я хочу сказать, что у меня могут измениться те понятия, с которыми я оперирую, а мои рассуждения могут остаться совершенно справедливыми, и мы в праве требовать от них постоянства только в пределах одного и того же рассуждения. Тов. Богданов сделал окончательный вывод, что нужно оперировать с фактами. Но что значит оперировать с фактами? Уже то, что мы употребляем слова, уже то, что мы применяем математику и складываем числа вместо того, чтобы складывать доски, это уже рассуждение. Было бы совершенно нелепо, если бы мы от этого отказались, и мы как и тов. Богданов, конечно, не откажемся рассуждать, а что единственный критерий правильности наших рассуждений в фактах, к этому мы пришли уже очень давно. И форма тут может быть, конечно, весьма различна в выборе этих фактов. Одно из самых важных и самых значительных рассуждений, какое когда бы то ни было проведено, это геометрия Эвклида, которую мы, несмотря на то, что прошло 2 тысячи лет и что наши понятия меняются, можем вполне еще сегодня, как и Спинозу, и читать и понимать. И это не так страшно, т. Богданов, как вам кажется, и вот, когда мы стали пытаться обосновать эту самую геометрию, эти все логические рассуждения и выделить, где же тут аксиомы и где то, что из них вытекает, – когда мы поставили вопрос о независимости системы аксиом и об отсутствии в них противоречий, все пути, по которым эти попытки шли, привели к обоснованию на фактах. Лобачевский попробовал эту 11-ю аксиому Эвклида, о которой говорил т. Богданов, доказывать, исходя из противоположного и рассуждая. Он, правильно рассуждая, не пришел ни к какому логическому противоречию, построил таким образом новую геометрию и отсюда сделал вывод, что эта аксиома независима, не вытекает из других, не доказуема. Этот вывод не был достаточно обоснован, т. к. вопрос об отсутствии противоречий только путем системы рассуждений не решается. Как в этом отсутствии противоречий убедиться? Будем достаточно долго рассуждать, и если мы придем к абсурду, значит в нашей системе были противоречия. Но, может быть, необходимая для этого цепь рассуждений слишком длинна, может быть, мы ее никогда не выполним? К чему математики окончательно пришли? Они пришли окончательно к тому, что, если можно указать систему реальных вещей, реальной действительности, в которой наши аксиомы выявляются, значит, в этой системе аксиом нет противоречий и никакого другого критерия нет. Геометрия Лобачевского была обоснована псевдосферой Бельтрами.

Каков же вывод? Вывод чрезвычайно прост. Конечно, нам отказаться от рассуждения нет никаких оснований ни по тому, что по теории вероятности может оказаться, что вероятность того вывода, который мы делаем, очень мала, ни потому, что наши понятия меняются. Наоборот, мы сплошь и рядом сознательно меняем эти понятия и получаем определенные выводы. Мы вместо системы точек берем систему лучей, и положение, построенное для системы точек, переносим слово в слово на систему лучей. Когда мы убедились, что эта замена возможна, рассуждения наши имеют характер действительности постольку,

поскольку окружающая нас действительность их подтверждает. Отказаться от того, чтобы строить такие исторически себя оправдавшие логические рассуждения на тех основаниях, которые нам приводил т. Богданов, по-моему, нет ни малейшего основания.

Тов. **Карев.** Я должен оговориться, что изложение мое будет несколько беспорядочно, поскольку, не имея заранее доклада в письменном виде, приходится следовать по пятам за мыслью докладчика.

Сначала одно замечание формального порядка. Тов. Богданов пробовал острить насчет того, что ныне точка зрения диалектических материалистов якобы доказывается простым сопоставлением той или другой мысли с цитатами, приводимыми из авторитетов. Это, конечно, неверно. Никто из современных материалистов, против которых выступал т. Богданов, не думает доказывать ему что-нибудь цитатами из Маркса и Энгельса. Но был такой период борьбы между самим Богдановым и Плехановым, когда шел спор о том, кто представляет действительные воззрения Маркса и Энгельса. И этот спор имел значение не только для спорящих, но и для той огромной аудитории, пред которой он велся. Если теперь этот вопрос решен и т. Богданов сам более не претендует на то, чтобы быть ортодоксальным представителем воззрений Маркса и Энгельса, то все же вопрос об ортодоксии имеет некоторое значение для многих других. Цитатами нельзя, конечно, доказать, в собственном смысле этого слова, истинность или неистинность тех или иных положений. Но когда оказывается, что чьи-либо взгляды резко расходятся с воззрениями основоположников марксизма, высеченными из одного камня, то для всякого, кто хочет быть верным марксизму, это уже свидетельство их шаткости. Согласие с теорией, нашедшей себе подтверждение в опыте классовой борьбы миллионов, весит неизмеримо больше, чем очень многие так называемые „доказательства".

По существу доклада т. Богданова прежде всего надо заметить, что критиковать доклад чрезвычайно трудно, потому что, хотя в конце концов все современное философствование тов. Богданов сводит к словесному фетишизму, но сам он целиком пропитан этим фетишизмом. Все важнейшие философские проблемы включая и вопрос об отношении мышления к бытию, вопрос о существовании внешнего мира, разрешаются им поверхностным филологическим анализом. Логику и опыт заменяет чисто словесный анализ. Это и есть настоящее „рассуждательство", когда проблемы, разрешавшиеся человечеством путем тысячелетней работы мысли на основе огромного исторического опыта, призывается устранить легонькая филология. Это даже нечто худшее, чем „рассуждательство"—это „рассуждательство о рассуждательстве".

Естественно поэтому, что те действительные проблемы, над которыми бьется современная философская, теоретическая мысль, не могли быть даже поставлены в докладе т. Богданова. Проблема прерывности и непрерывности материи, целый ряд других проблем, выдвинутых и так или иначе разрешаемых в гегелевской „Науке Логики", поставленных у Энгельса в „Диалектике Природы", над которыми работает нынешняя философская материалистическая мысль, даже не упомянуты

в докладе. Все проблемы сводятся к тому, что-де в рассуждениях зачастую по различным поводам применяются одни и те же слова и в этом источник всех заблуждений. Словесный фетишизм и заключается в том, что люди за словами не видят понятий, а за понятиями—вещей, которые им соответствуют. Мне кажется, что это—основная ошибка в сегодняшнем докладе Богданова, определяющая собой все остальные.

Возьмем прежде всего самую постановку тов. Богдановым проблемы заблуждения. В докладе было заявлено, что всякое заблуждение имеет своим исходным пунктом рассуждение. Это, вообще говоря, совершенно неверно, потому что рассуждение не является единственным источником заблуждения, т. к. возможны ошибки и в образовании понятий и представлений. Они могут быть не адэкватны предмету, находящему себе в них отражение. Неясность доклада определяется тем, что, говоря постоянно о заблуждении, об ошибках, о том, к каким опасностям приводит „рассуждательство", тов. Богданов не поставил даже себе задачей предварительно выяснить, что он понимает под истиной и заблуждением. Если вы ставите вопрос так, что рассуждательство ведет к целому ряду заблуждений, то нужно поставить вопрос: что же такое заблуждение и что такое истина? Какова их логическая сущность? А все дело в том, что то, как вы понимаете истину, совершенно расходится с тем, как ее понимает современный марксизм, совершенно расходится с самой истиной. Если под истиной понимать что-либо, имеющее действительную значимость для нашего познания и нашей практической деятельности, то ее должно определить, следуя Гегелю, как соответствие понятия предмету. У Гегеля говорится далее, что истина есть соответствие понятия самому себе. В этом и заключается гегелевский идеализм, т. к. понятие и предмет у него совпадают. Но, стоя на материалистической точке зрения, следует сказать, что истина есть соответствие понятия предмету. Существует об'ективно, независимо от нашего сознания, предмет, он находит себе отражение в наших представлениях и понятиях—соответствие понятия предмету дает истину, несоответствие—заблуждение. В своем филологическом анализе тов. Богданов не понимает, что наши слова и понятия, будучи орудиями общения людей, возникшими на определенной ступени их развития на основе трудовой деятельности, могут служить такими орудиями только потому, что они отражают некоторые об'екты, некоторые предметы. Если устранить этот об'ективный момент в значении слов-понятий, то неизбежным результатом оказывается вульгарный релятивизм, мышление начинает рассматриваться как механический, а не как логический процесс, и возможность заблуждения вычисляется по теории вероятности. Конечно, слова и понятия отражают об'екты не точно, не абсолютно. Слово-понятие не отражает точно предмета, предмет заключает в себе множество сторон, которые не находят себе отражения в нашем сознании или от которых отвлекается оно. Но все же наши слова и понятия обладают способностью отражать и действительно присущие предмету стороны его бытия, и этот об'ективный момент позволяет нам говорить о единстве человеческого познания природы. Ньютоновы законы природы остаются и для нас законами постольку, поскольку они отражают не

которые действительные стороны об'екта—природы. А если стать на ту точку зрения, что такого об'екта нет, то понятия и слова, будучи продуктом общения людей различных культур, потеряют свое значение для людей другой общественной формации, и тогда, конечно, Ньютоновы законы для нас не могут иметь никакой значимости. Поскольку у вас об'ект улетучился, вы витаете в сфере чисто словесного анализа, за которым никаких реальных проблем не скрывается. Вы приходите к абсолютно изолированным культурам, между которыми не может быть никакого взаимодействия, потому что нет единого предмета, который должно отражать социальное сознание человечества. Мне кажется, что это самое важное, что нужно было сказать по поводу дурной филологии т. Богданова. Вся его постановка проблемы совершенно бессодержательна. Для нас анализ слов и понятий имеет значение, лишь поскольку эти слова и понятия находят себе подтверждение в исторической практике людей, поскольку они так или иначе относятся к об'екту человеческой деятельности — природе и обществу, как части этой природы. Для Богданова за словом не скрывается никакого об'екта, и потому все его рассуждения пусты и никакого значения для научного познания не имеют. Самая абстрактная философия ближе к действительности, чем эта филология.

Далее тов. Богданов выдвигал разграничение между научными понятиями, с одной стороны, и философскими понятиями, с другой: в последних-де царит произвол, так как в философии никакой эксперимент невозможен. Философские понятия представляют собой нечто такое, во что каждый философ включает свое собственное содержание и в чем поэтому нельзя найти никакой точки опоры. Если понимать под философскими проблемами чисто словесные проблемы, тогда с этим можно согласиться, но под философскими проблемами марксизм (а мы говорим о марксизме и марксистской философии) понимает нечто другое. Если вы возьмете такие проблемы, как проблема существования материи, как проблема отношения между причиной и следствием, между качеством и количеством и т. д.,—может ли то или иное разрешение их быть проверено практически? Еще Энгельс писал, что чисто философская проблема „вещи в себе" решается практически, решается экспериментом. Конечно, если оторвать философию от науки и сказать, что философия занимается чем-то принципиально отличным от научного знания, то тогда, естественно, философские категории никакого значения иметь не будут. Но если задачей философии является изучение методов научного познания и установление основ научного мировоззрения, то категории, которыми оперирует философ, вовсе не представляют чего-либо потустороннего практике, независимого от нее. То же самое касается анализа вами некоторых философских категорий. Например, о злополучной категории „качества" вы утверждали, что эта категория не имеет никакого значения, т. к. понятие „качества" многозначаще и применяется и к органической и к неорганической природе. Но ведь вы сами в своей „организационной науке" употребляете целый ряд универсальных понятий и схем и применяете их к самым различным об'ектам, подчас действительно ничего общего не имеющим друг с другом.

Таково, например, понимание вами так называемых „централистических" форм; таково, скажем, у вас понятие „структуры". Вы применяете его к самым различным об'ектам. Конечно, понятие „качество" „многозначаще" потому, что оно отражает одну из наиболее общих форм движения в природе. Так же, как вы считаете одной из наиболее общих форм „кон'югацию", точно так же диалектик считает понятие „качества" отражающим наиболее общую форму существования самых различных об'ектов. Что такое „качество"? Это определенность предмета, обуславливающая специфическую закономерность, специфическое движение этого предмета. В этом среди марксистов, насколько я знаю, нет никаких разногласий. Стоит ли проблема „качества" перед современной наукой? Конечно, стоит. Эта проблема ставится, хотят или не хотят ее ставить, во всех спорах между механизмом и витализмом. Это—проблема, в которую упирается в целом ряде областей современная наука. Она ставится в той же плоскости, в какой ставили ее Гегель и Энгельс: каковы закономерности различных форм движения. Вы говорите, что понятие качества нужно заменить понятием структуры, но это только отступление от вопроса, потому что либо сама „структура" сводится к чему то качественному, будучи лишь более узким понятием, либо и ее можно разложить на чисто количественные отношения, и тогда вновь возникает старый вопрос. Если хотя бы сколько-нибудь держаться Маркса, то, конечно, невозможно отрицать об'ективность качества, переход количества в качество, о котором говорит Маркс в „Капитале". Когда-то, вы сами писали, что нужно противопоставить качественно-революционную точку зрения эволюционно-количественной. Это было тогда, когда вы были большевиком [1]. Поэтому и можно утверждать, что все ваши попытки представить сейчас диалектические формулы не имеющими никакой научной значимости явно несостоятельны. Возьмем еще для примера ваш анализ диалектики Гегеля. Конечно, с Гегелем очень легко справиться, если взять за образец его диалектики переход бытия в ничто и становление. Еще Фейербах, а вслед за ним и Энгельс, говорили, что эта диалектика представляет нечто весьма абстрактное и идеалистическое. Идеализм Гегеля и заключается в том, что он хочет простым превращением одного понятия в другое дать конкретный предмет, конкретное движение. Но понятие становления есть не только единство бытия и ничто, даже по Гегелю, а и единство возникновения и уничтожения. Сам Гегель считает бытие и ничто формальными понятиями, которые имеют значение лишь постольку, поскольку Гегелю необходимо было, чтобы сам исходный пункт логики, становление, уже с самого начала заключал в себе противоречия, был единством противоположностей. Действительное исходное положение гегелевской логики—становление. Конечно, диалектика бытия и ничто—фиктивная диалектика. Это—азбучная истина в наше время, и взять этот пример для опровержения диалектики — пустое дело. Здесь философия тов. Богданова с порядочным опозданием повторяет лишь старую материалистическую критику Гегеля. Если бы Богданов взял своим об'ектом хотя

[1] См. „Эмпириомонизм", кн. III, стр. 134, 137.

бы соседний же пример у Гегеля—становление, как единство возникновения и уничтожения, то его филологии явно пришлось бы выдать себе свидетельство о бедности. То же самое случилось бы, если бы вы взяли другую поставленную у Гегеля проблему, в которую упирается все современное научное знание, в которую упирается современная физика, новая квантовая механика, проблему того, как сочетать с одной стороны прерывность, а с другой стороны непрерывность материи. Для того, чтобы найти ответ на этот вопрос, сами современные физики говорят, что надо обратиться к философии. И это понятно, потому что колоссальная работа человеческой мысли, которая нашла себе завершение в материалистической диалектике, должна быть использована. Конечно, если Гегеля читать так, как его читал т. Богданов, то это дело безнадежное и бесплодное. Но для современного знания и разрешения проблемы континуума и прерывности, для разрешения проблемы относительности, „Логика" Гегеля имеет колоссальное значение. Просто отмахнуться от нее тем, что в ней ничего не поймешь, очень легко, но вряд ли это—об'ективно значимое и социально значимое решение вопроса. Непонимание—не аргумент.

Насчет решения Богдановым путем филологического анализа проблемы внешнего мира, мне кажется, и говорить не стоит. Когда эта величайшая, по свидетельству Энгельса, проблема философии устраняется филологическим анализом, то об этом даже говорить смешно.

Я хотел бы сделать еще пару замечаний историко-философского порядка. Тов. Богданов говорил, что научной ценности философские системы не имеют, и при этом оговорился, что они имеют определенную социальную значимость в совершенно другой плоскости. Но такое заявление представляет собой прямой вызов действительной истории философии. Если взять Декарта, Спиноху, Лейбница, Канта, Гегеля, то можно ли сказать, что их системы и их метод не имели никакой научной ценности? Все эти мыслители были энциклопедическими умами, опирающимися на всю совокупность современных им знаний. Полагать, что великие философские системы высасывались из пальца,—смешно. Известно, что методология Декарта оказала колоссальное влияние на математику и естествознание, что методология Лейбница неразрывно связана с его математическими открытиями и т. д. Известно, что гегелевский метод оказал колоссальное влияние на все общественные науки. Только с Гегеля, во многом предвосхитившего марксизм, в сущности и начинается общественная наука в настоящем смысле этого слова. Это совершенно несомненно. Как же можно после этого сказать, что никакого научного значения философствование в прошлом не имело? Оно имело колоссальное научное значение. Утверждение Богданова бьет в лицо всей прошлой истории философии и науки. Не менее смехотворно утверждение, что изображать Спинозу, как материалиста, абсолютно неверно - де потому, что Спинозу никогда на протяжении $2^1/_2$ столетий никто не считал материалистом. Но общеизвестно, что еще поп Колерус, который писал о жизни Спинозы, доказывал, что Спиноза—материалист. Во времена Спинозы материалистическое понимание его системы было общепризнанным и среди его друзей, и среди его врагов. Толанд, английский

материалист, также принимал Спинозу, как материалиста. А вы говорите, что истолкование Спинозы, как материалиста,—совершенно новое понимание Спинозы, что мы его понимаем так, как его за $2^1/_2$ столетия никогда не понимали. Вы игнорируете азбуку истории философии.

Последнее замечание. Тов. Богданов говорил, что периоды рассуждательства означают обычно отмирание какой-либо великой доктрины. Какая же доктрина ныне отмирает с точки зрения тов. Богданова? Гегелианство? Но гегелианство как будто с его точки зрения отмерло еще в половине прошлого столетия. Очевидно, отмирает, по Богданову, марксизм. Что-ж! Так и запишем. Но это пророчество не ново. Оно повторяет старые буржуазные пророчества и проклятия марксизму. Нет никаких оснований сомневаться в том, что и на этот раз, вопреки им, марксизм будет продолжать жить, бороться и победит.

Тов. **Асмус.** Я, товарищи, считаю, что т. Богданов в сегодняшнем докладе поднял чрезвычайно интересный и очень важный в научном отношении вопрос,—вопрос о той антиномической функции, которую играет слово в рассуждении, в процессе научной работы. Слово, которое должно быть орудием социального обмена и рассуждения, которое должно быть орудием доказательства, оказывается, часто плохо служит этому своему назначению. Здесь действительно имеется какое-то противоречие. Дальше, я считаю, что привлечение филологического анализа к разрешению этой проблемы т. Богданов сделал совершенно правильно: само собой разумеется, речь идет не о поверхностном подходе, а о глубоком критическом подходе, о методологическом обосновании этих филологических вопросов. Но я считаю, что тот способ, каким пытался разрешить эту антиномию т. Богданов, неудовлетворителен. Он не сумел в своем докладе ни выяснить механизма этого противоречия, ни разрешить самое это противоречие и вот почему: в основе доклада лежит мысль, что мы абсолютно лишены возможности установить об'ективное, общеобязательное, общезначимое содержание понятий, понятия вечно текут, колеблются, всегда суб'ективны, всегда их значение относительно. Это идея уже очень не новая. Она была обоснована еще Гумбольдтом и развита Потебней, который бросил крылатую фразу, сказавши, что «всякое понимание есть непонимание».

Действительно, процесс понимания состоит не в том, что содержание чужой мысли переходит из головы автора в голову читателя. «Понять» чужую мысль значит воспроизвести в своей голове приблизительно тот самый ход мысли, какой был проделан автором. Но так как на свете нет двух голов, которые работали бы совершенно одинаково, то всякое «понимание», будучи действительным пониманием,—поскольку чужая мысль воспроизводится,—есть в то же время и непонимание, поскольку это воспроизведение лишь частично совпадает с процессом мысли автора. Вот это-то и имели в виду Гумбольдт и Потебня в приведенной мною парадоксальной фразе, которая подчеркивает неизбежность релятивизма, неизбежность суб'ективных оттенков в понимании нами терминов. Такой релятивизм действительно имеет место. Но нельзя ограничиваться этим релятивизмом. Надо итти дальше,—к преодолению этого релятивизма. Я считаю, что недостаток доклада тов. Богданова

заключается в том, что он не сумел преодолеть того релятивизма, в котором сам Потебня и его школа запутались, потому что совершенно не в состоянии были преодолеть психологизма.

Хотя, казалось бы, по тезисам и по всему содержанию доклада в центре анализа т. Богданова должен был стоять анализ суждения и рассуждения, однако, на самом деле доклад в значительной мере свелся к анализу понятия. Конечно, имея об'ектом анализа не связь понятий в рассуждении, но лишь отдельные слова, а—еще точнее—даже не слова, а их графические обозначения, нетрудно «показать», что слова-понятия многозначны и не содержат одинаково обязательного для всех содержания. Однако, реальное слово-понятие существует только в комплексах речи-рассуждения. И потому вопрос о возможности об'ективного значения понятий не может быть решен путем указания на множество значений, какие может иметь в сознании разных людей одно и то же (графически) слово. Но именно таким путем идет А. А. Богданов. Я считаю, что этот подход совершенно неправилен, и в данном случае тов. Богданов, сознательно или бессознательно (я не знаю, каково его отношение к Потебне и школе Потебни), но в лучшем случае лишь повторил стародавние ошибки Потебни, вытекавшие из психологизма и из абстрактного семазиологического анализа слов вне контекста речи-мысли. Потебня свой релятивизм углубил именно благодаря тому, что направил все внимание, сосредоточился преимущественно на анализе значения отдельных слов. Что же касается самого значения слов-понятий, то здесь, даже если мы согласимся с т. Богдановым в его абстрактной установке анализа, мы должны признать все же, что в этом анализе недостаточно учтены данные языковедения. Тов. Богданов, опираясь на работы почти исключительно Нуаре, не привлек ряда других важных работ, сюда относящихся. Прежде всего по вопросу о происхождении слова из междометия. Мне кажется, что в настоящее время категорически отвечать на этот вопрос было бы несколько неосторожно в смысле научном. Сравнительная грамматика индо-европейских языков показала, что реставрация первоначального значения слова никогда не доходит до действительных, исконных их первоистоков. В лучшем случае мы имеем фактический предел, дальше которого в глубину времени не может простираться наша редукция—просто за недостатком данных. Но говорить, что мы в состоянии восстанавливать какие-то действительные пра-корни слов-понятий, это—с точки зрения современного языкознания—звучит несколько наивно.

Дальше, мне кажется, что т. Богданов недостаточно осветил самый состав слова. Эта ошибка в анализе состава слова не случайна, а связана с его принципиальным релятивизмом логическим и гносеологическим. Тов. Богданов не учитывает в своем докладе того важного элемента слово-понятий, который школа Потебни обозначает словами: «внутренняя форма», «образ», «символ». В школе Потебни все эти термины равнозначащи. Это понятие «внутренняя форма» лучше всего можно осветить на анализе какого-нибудь слова, напр., слова «подснежник». Оно состоит из трех элементов: 1) это название цветка определенного

ботанического вида; 2) это звук, звуковой комплекс и 3) это указание одного из бесчисленных признаков предмета, именно того, что этот цветок расцветает на снегу, когда еще снег лежит. Язык из бесчисленного множества признаков выбирает один, который – с точки зрения создавших это слово—был существенным, и по этому признаку определяет весь предмет в целом. Здесь мы имеем третий—важнейший—элемент в составе слова, который школа Потебни обозначает понятием «внутренняя форма» и который имеет громадное значение потому, что если мы правильно употребляем понятие «внутренняя форма», оно помогает нам выйти из тупика релятивизма, в который нас завел сегодняшний доклад. Дальше тов. Богданов не установил—и совершенно не мог установить при своих методологических предпосылках—разницу между научными понятиями и вненаучными, обывательскими представлениями и философскими понятиями. Эти границы, как я ни старался понять, представляются мне не доказанными в докладе. Уже основная ошибка Потебни и его школы (отчасти в этом заключается и ошибка Кроче) состояла в том, что недостаточно ими было учтено соотношение между образным словом и словом-понятием. Больше всего положительных данных дает все-таки Потебня для разрешения этого вопроса. Если мы сравним образные слова и научные понятия, то никакой принципиальной разницы в их составе мы не найдем. То же самое относится и к философским понятиям. Тов. Богданов приводил в пример слово «человек» и демонстрировал огромное разнообразие оттенков значения этого слова. Мне кажется, что было бы целесообразнее, если бы мы для примера взяли другое, более дифференцированное понятие, например, «вода». У химиков вода—H_2O, у физиков—другое понятие: тело, которое замерзает при такой-то температуре, наибольшую плотность имеет при таких-то условиях и т. д. Каждый имеет свое представление или свое понятие о воде. Из чего это понятие состоит? Из признаков, при чем в понятие входят не все признаки, которые можно найти в явлении, но лишь часть признаков, а именно те признаки, которые, с точки зрения данной науки, считаются существенными. Но можем ли мы остановиться на том, что мы здесь имеем сумму признаков, существенных с точки зрения данной науки. Не можем, потому что это завело бы нас в тупик релятивизма. Здесь перед нами очень трудная логическая и гносеологическая проблема, и мы с ней справиться можем только диалектически. Риккерт и Виндельбанд пытались построить теорию понятий на «точках зрения». Они построили классификацию наук, которая на первый взгляд подкупает и кажется основанной на чисто-методологических принципах, а на самом деле зиждется на ложной идеалистической мысли, будто науки конструируются не реальными свойствами об'екта, но лишь ясностью и дифференцированностью наших точек зрения на этот об'ект. По Риккерту, раз существует метод, стало быть существует и соответствующая ему наука. Мир наук вращается вокруг «точек зрения», т.-е. определяется в последнем счете нашим сознанием. Есть установка историческая, стало быть есть исторический предмет, стало быть есть наука история; есть установка на общие законы, стало быть есть естествознание. Этот взгляд—вполне

идеалистический—подрывает в корне об'ективное значение науки, хотя идеализм здесь весьма замаскирован. Для того, чтобы избежать суб'ективизма в этом вопросе, мы должны не терять из вида предметного характера сознания. Всякое сознание есть сознание о предмете. Не потому у нас есть разные науки, что у нас есть различные установки и точки зрения, напротив, наши «точки зрения» возможны и существуют потому, что предметы об'ективно обладают свойствами, могущими быть воспринятыми с этих точек зрения. И существуют эти свойства в структуре предмета об'ективно.

Затем меня особенно поразило в докладе т. Богданова то, что из него совершенно исчезло то, что должно было занимать центральное положение, именно логика. В докладе, посвященном анализу рассуждения, как это ни странно, не было ни слова о логике, о логических законах мышления. Все время шла речь о том, что наши понятия изменяются, что у разных людей под оболочкой одного и того же слова мыслится разное содержание, что всякая цепь рассуждений в результате приводит нас к ошибкам, при чем была продемонстрирована высокая степень вероятности этих ошибок по законам теории вероятности. Мне кажется, что эта ошибка у т. Богданова, этот пробел—отсутствие анализа логической стороны рассуждения—так же не случайна, она связана с коренной психологической его установкой. У тов. Богданова отсутствует совершенно понятие логических законов мышления. Но именно логические законы: закон тождества, закон противоречия, закон исключенного третьего предохраняют нас от нарушений, от отступлений от принятого однажды значения наших терминов. В чем для нас ценность формальной логики? В том, что она гарантирует нам последовательность нашего мышления. Вот почему так неубедительна Богдановская критика силлогизмов. Это неправильно, что силлогизм заключает в себе petitio principii и quaternio terminorum. Силлогизм, как таковой, таких ошибок не заключает в себе и заключать не может. Ошибки могут получиться в том случае, если наши предпосылки будут неверны. Но силлогизм, как логическая форма, есть только орудие связи между нашими мыслями. В этом смысле уже Бэкон, который резко критиковал логику Аристотеля, ломился в открытую дверь, потому что он не знал того, что нам теперь легко знать, он совершенно не учел того, что силлогизм в понимании Аристотеля был не орудием открытий или изображения новых истин, но лишь орудием—формальным—изложения и доказательства.

И тут я перехожу к последнему пункту. В докладе т. Богданова меня поразило то, что из этого доклада следуют совершенно нигилистические выводы относительно всей работы нашего опосредствованного знания, которая не могла не быть выработкой доказательств. Совершенно правильно, что новейший математический анализ доказал «некорректность», несостоятельность многих теорем. Рессель, подводя итоги развития математики за последние несколько десятков лет, говорит, что математика выяснила не только то, что некоторые эвклидовские аксиомы не так уж очевидны, как раньше думали, но, более того, доказала, что многие предложения Эвклида вовсе не вытекают из тех аксиом, из

которых их выводили. Но что отсюда следует? Следует ли отсюда, что мы должны отказаться от рациональной обработки нашего знания, от доказательств, от опосредствованных методов и способов познания? Ни в малейшем степени. Да это ни к чему бы и не привело. Нельзя зачеркивать, как это делает всем содержанием своего доклада тов. Богданов, нельзя зачеркивать стремление к рациональному опосредствованному обоснованию, к доказательству нашего знания. Больше того. Мы прямо должны сказать, что только в том случае мы имеем дело с действительной наукой, когда мы имеем знание доказанное, рационально обоснованное. Мы можем приходить каким угодно путем к нашим познаниям: путем анализа, медленной сосредоточенной работы или путем внезапной догадки («интуиции»), но только в том случае познанное нами присоединяется к об'ективному составу науки, если это познание будет доказано. Вот почему логика всегда будет логикой доказательства, обоснования, изложения. Вот почему рассуждение—на любой ступени развития науки,—сохранит, как логическая форма связи между мыслями, все свое значение. Вот почему мы в корне должны отвергнуть основные положения доклада т. Богданова, как построенные на психологизме и релятивизме и ведущие в результате к абсолютному скептицизму.

Тов. **Вайнштейн.** Фридрих Ницше задает один любопытный вопрос: почему философы клеветники? Мне кажется, что сегодня Богданов поставил вопрос значительно резче и радикальнее, он просто заявил, что философы—клеветники, которых нужно привлечь к уголовной ответственности. Однако, нужно сказать, что состоявшийся сегодня суд над философией, обращается своим приговором гораздо более против судьи, нежели против философии. Сегодня Богданов пытался произвести героический сдвиг, выразившийся в отрицании всякой самостоятельности за теоретическим мышлением. Всякое, мол, теоретическое мышление есть, согласно Богданову, простое рассуждательство. Возможно, что для средних веков подобная оценка теоретического мышления более или менее правомерна, но в наше время она является неприкрытой реакционностью, которую следует совершенно отбросить. Теоретическое мышление находит в лице Маркса, Энгельса и Ленина самых ревностных защитников. Возьмем, например, Энгельса и его «Диалектику природы». Энгельс в этом произведении ставит в упор проблему теоретического мышления. Спрашивая о связи теоретического мышления и эмпирического естествознания, Энгельс замечает, что последнее, накопивши огромное количество фактов, становится перед необходимостью систематизировать эти факты, привести их в известную связь, что приводит эмпирическое естествознание к теоретическому мышлению, помощь которого оказывается для него крайне необходимой. Но теоретическое мышление является прирожденным свойством только в виде способности. Энгельс поэтому считает, что эта способность должна исторически развиваться, разрабатываться и совершенствоваться. Представьте же себе, что Энгельс советует естествоиспытателям прибегать к помощи истории философии, являющейся историческим выражением такой развивающейся способности. Энгельс прямо заявляет: «Естествоис-

пытатели, если вы не хотите застревать беспомощно в хаосе фактов, если хотите правильно систематизировать эти факты, вы должны учиться у истории философии». Энгельс считает необходимой для естествознания науку о мышлении, которая есть исторический продукт, ибо каждая эпоха имеет свою теорию, которая возникает в определенных исторических условиях. Указывая на исторический характер науки о мышлении, которая разрабатывалась, начиная с Аристотеля и кончая Гегелем, Энгельс говорит, что среди различных исторических форм этой науки диалектическая логика есть наиболее ценная, которую естествоиспытатели должны использовать и усвоить в своей практической работе. Почему? Потому, что диалектика есть аналог процессов природы, метод об'яснения существующих в ней связей. Энгельс иллюстрирует это положение на классификации суждений у Гегеля, представляющего, по Богданову, самого отчаянного рассуждателя. Гегель в этой классификации различает следующие категории суждений: суждение наличного бытия, рефлексии, необходимости и понятия. Произвольная с виду и сухая классификация, в действительности, как говорит Энгельс, насыщена глубоким реалистическим содержанием. Суждение наличного бытия, что трение есть источник теплоты, переходит в процессе постоянного развития через суждения рефлексии и необходимости в высшее суждение понятия, которое в естественно-научном значении представляет универсальный закон движения, гласящий, что любая форма движения способна и вынуждена при определенных для каждого случая условиях превратиться прямо или косвенно в любую другую форму движения. Энгельс поэтому заключает, что развитие логической формы суждений Гегеля отражает развитие теоретического познания природы и обосновано ее же законами. Когда мы видим, что такие мыслители, как Маркс, Энгельс и Ленин обращают такое сугубое внимание на диалектику Гегеля, которая даже на идеалистическом базисе имеет огромное научное значение, ибо даже в этом виде она указывает адэкватные действительности формы мышления, то разве можно так ее третировать, как это делал сегодня Богданов? Возьмем следующую проблему. Почему Маркс дал такую колоссальную по научной ценности экономическую концепцию? Богданов сегодня с презрением говорил о категории качества, как вредном и схоластическом рассуждательстве. Поставленную проблему, однако, можно будет решить только в том случае, если будет принята во внимание категория качества и ее роль в научном мышлении Маркса. Классики-экономисты, которые пытались понять экономику буржуазного общества, проследить его внутренние связи, оказались бессильными в этой попытке, ибо при анализе этого общества они не принимали во внимание категории качества, которую Богданов сегодня так злостно третировал. Непонимание этой категории мешало классикам-экономистам понимать буржуазную экономику и ее исторические категории. Возьмем основную категорию капиталистической экономики— стоимость. Классики-экономисты видели в стоимости только величину, останавливались только на рабочем времени, как на законе природы. Законы капиталистического общества и, следовательно, закон стоимости являются, однако, историческими законами, связаны с качественно

определенным бытием, которые вечные законы осветить не в состоянии. Маркс, изучавший вещи исторически, рассматривал категорию стоимости не только с ее количественной, но, главным образом, с качественной стороны. Форма стоимости или ее качественная сторона, которую, как говорит Маркс, искали в течение двух тысячелетий, несмотря на всю ее простоту, раскрывает загадку категории стоимости и буржуазной экономики вообще. Возьмем некоторые другие примеры. Богданов, как экономист, не будет, конечно, возражать, если я буду прибегать к экономике. Возьмем категорию ренты. Прудон определял ренту, как исполинский кадастр, т.-е. дал такое ее определение, которое можно называть бескачественным, ибо оно не проливает на эту категорию никакого исторического света. Когда же Маркс связывает абсолютную ренту с производственными отношениями капиталиста и землевладельца, связывает ее с излишком над средней нормой прибыли, которая является категорией только капиталистического общества, связывает с различием в структуре органического состава капитала в земледелии и промышленности, он показывает, что недостаточно понимать абсолютную ренту бескачественно, скажем, как монополию на земельную собственность, но ее нужно понимать, исходя из данной системы производственных отношений капиталистического общества, которая образует некоторое социальное качество. Относительно стоимости приходится то же самое сказать. Если взять эту категорию только в ее физиологически-трудовом разрезе, когда она не выступает за пределы законов природы, то о ней ничего не будет сказано, ибо стоимость, как рабочее время, как закон природы, охватывает все исторические эпохи. Но, определяя стоимость, как ф о р м у пропорционального распределения труда в товарно-капиталистическом обществе, где вынуждаемое законами природы распределение принимает определенную товарную форму, охватывая также и рабочую силу, Маркс дает к а ч е с т в е н н о е толкование этой категории. Только качественное понимание бытия способствует пониманию его тенденций и господству над ними. Богданов говорит, что нужно господствовать над понятиями. Совершенно естественно, что, пренебрегая качественным моментом бытия, оставляешь действительность вне поля возможного воздействия, ибо, например, с прудоновским определением ренты ничего не поймешь в выражаемых ею общественных отношениях. Философия есть рассуждательство, твердит Богданов. Нужно сказать, что Маркс как раз подошел ф и л о с о ф с к и к экономике капитализма, почему он и схватил ее суть. Возьмем такую практическую проблему, как переход от капитализма к коммунизму. Рассматривая рассуждения Маркса об этом переходе, Ленин замечает, что они представляют освещенное глубоким ф и л о с о ф с к и м миросозерцанием подытожение опыта. Рассуждения Маркса, сводящиеся к необходимости сломать старую государственную машину для перехода к новому общественному строю, Ленин связывает с его философским миросозерцанием. Богданов же сегодня ухитрился ф и л о л о г и е й опрокинуть и ликвидировать все и вся. Богданов в своей попытке, конечно, не одинок.

Фридрих Ницше, производивший под углом филологии переоценку всех ценностей, говорил физикам: «Вы, физики, говорящие о закономерности природы, видящие в ней равную для всех законосообразность, не

видите, что ваши разговоры суть результат вашей плохой филологии». Ницше надеялся на грядущее пришествие такого филолога, толкователя природы, который увидит в ней воплощение полнейшего неравенства. Плохую филологию Ницше связывал с демократическими инстинктами, толкающими навстречу грубой плебейской массе, которым не будет места в новой филологии, проникнутой решительным аристократизмом. Богданов, таким образом, может похвастаться своим аристократическим предшественником. Нужно, конечно, различать между рассуждательством и рассуждательством. Рассуждательство Богданова действительно не выдерживает никакой критики и от схоластики мало чем отличается. Рассуждательство же, основанное на материалистической диалектике, является необходимым условием правильной ориентации в мире фактов. Точка зрения Богданова напоминает, скорее, героя Диккенса, который кричал: факты, факты и факты. Герой этот замечательно предвосхитил богдановскую концепцию рассуждательства. Опять-таки нужно различать между качеством и качеством. Когда вульгарные экономисты говорили, что рента вытекает из земли, процент — с капитала, заработная плата из труда, они также исходили из определенных качеств, но исходили вульгарно, т.-е. понимали под качеством только внешнюю видимость. Маркс поэтому говорил, что у вульгарных экономистов различные доходы не стоят ни в какой враждебной связи, т. к. между ними нет никакой внутренней связи. Богданов, очевидно, только такого рода качества и признает. Понимаемое же диалектически качество он совершенно третирует на основании каких-то филологических фикций, посредством которых он ухитряется творить, разрушать, опрокидывать и «вещь в себе» и материю, словом вещи, далеко не фиктивные. Пусть Богданов утешается своим филологическим творчеством, но науке от него мало проку.

Тов. **Баммель.** Я буду краток, тем более, что я опоздал, а я боюсь говорить на основании розданных тезисов. Я думаю, что некоторые товарищи совершенно напрасно изображали отношение между т. Богдановым и марксизмом в виде такой математической схемы, когда переменная бесконечно близко подходит к пределу, т.-е., видите ли, к марксизму. Ясно, что в докладе не было не только «бесконечной близости» к марксизму, но и никакого отношения к марксизму, ничего общего между т. Богдановым и марксизмом нет. Доказывать это вряд ли нужно перед вами,— это значило бы ломиться в открытую дверь. Было бы поистине «рассуждательским» подходом к делу, было бы явно рассуждательски умозаключить, что мы имеем дело с марксистским докладом на том только основании, что докладчик выступает в стенах учреждения, призванного насаждать, развивать, популяризировать теорию марксизма. Но сказать, что доклад т. Богданова ничего общего с марксистской теорией не имеет, значит еще ничего не сказать. Это мы давно знаем. Но в настоящий момент я хотел бы обратить ваше внимание на такие особенности сегодняшнего доклада, которые делают его крупнейшим событием.

Дело в том, что доклад т. Богданова не является одиноким. В нашей литературе уже выступали последнее время с подобными воззрениями. Эти воззрения заняты прямой критикой марксизма. Доклад

т. Богданова и явился эклектическим набором всех тех ревизионистских тенденций, которые мы имеем в последнее время в нашей литературе. Достаточно сопоставить основные положения доклада, чтобы убедиться в этом.

Во-первых, общий тон доклада, общая установка. Это такое презрительное отношение к философским теориям, что истинные намерения докладчика выражаются совершенно недвусмысленно, и т. Вайнштейн правильно на этом заострил внимание. Философия есть рассуждательство. Мало того, и самое возникновение основных философских вопросов для т. Богданова об'ясняется «рассуждательской» сущностью философии. Оказывается, благодаря смене значения употребляемых терминов только и возможны философские рассуждения. Стало быть, если хотите держаться «пределов научности рассуждения», выбрасывайте «философию за борт». Но уже в начале своей деятельности, четыре года тому назад, журнал «Под знаменем марксизма» боролся с «марксистами» — прекрасными фразерами, но плохими теоретиками на идеологическом поприще, выдвигавшими лозунг о реакционности всякой философии вообще. Последующие теоретические события, в особенности, появление философских фрагментов Ленина, рязановского «архива» с «Диалектикой природы» Энгельса и т. д., целиком и полностью оправдали позицию этого журнала И если сегодня с этим же старым лозунгом выступает не марксист, а противник марксизма, то это оказалось возможным только потому, что ревизионистские выступления некоторых ответственных товарищей создали благоприятную атмосферу для нападения на марксизм. Почему т. Богданову не отождествлять философию с рассуждательством и третировать ее, если тов. Степанов давно „покончил“ с марксистской философией, отождествив ее с современным естествознанием? Разве не о том же писали тт. Петров и Тимирязев, Боричевский и прочие работники Тимирязевского Института в первом дискуссионном сборнике пресловутой вологодской „Диалектики в природе“?

Во-вторых, стоит отметить и выделить особо отношение т. Богданова к Гегелю, т. к. на этом пункте также заостряется борьба между механистами и диалектиками.

В сочинениях Маркса, Энгельса, Плеханова и Ленина неоднократно раз'ясняется, в чем заключается извращение диалектики у Гегеля. Но кто берет слово о Гегеле только для того, чтобы сказать: Гегель—идеалист, и только для этого, тот ничего не понял в марксизме, тот извращает марксизм. Тов. Богданов неоднократно употреблял выражение „неогегелианцы“. Но прочтите статью тов. Аксельрод „Ответ на наши разногласия“ А. Деборина в последнем номере „Красной Нови“, вы найдете там это же модное словечко „неогегелианцы“: Деборин, мол, неогегелианец, ученики Деборина неогегелиянцы и т. д. и т. д.

В-третьих, отношение т. Богданова к Спинозе. Конечно, это есть повторение того, что имеется и у Аксельрод, и у Варьяша, и у всех товарищей механистов, которые говорят буквально то же самое, даже употребляют те же самые выражения, что и т. Богданов. Все эти товарищи сходятся на том, что материалистические основы философии Спинозы совершенно отрицаются, величайшее значение Спинозы в исто-

рии революционных материалистических идей отрицается; очевидно, провозглашаемая здесь последняя мудрость состоит лишь в том, чтобы плестись в хвосте буржуазных извратителей истории философии, а от труда действительно научного, исторического изучения вопросов отмахиваться иронической фразой,—мол, в Советской России сделано открытие, что Спиноза был материалистом.

В-четвертых, общий тон доклада не со стороны его положительных теоретических выводов, об этом я еще скажу, а, так сказать, с методологической стороны. На это выступавшие товарищи указывали совершенно правильно, говоря о рассуждательском характере самого доклада. Вместо термина „рассуждательский" мы привыкли употреблять другой термин, более точный, известный, исторически закрепленный и нам более понятный—„схоластический". Я думаю, что доклад явился схоластическим, настоящим схоластическим произведением. Но схоластика тоже своеобразная у т. Богданова: она идет по линии одной из разновидностей современного ревизионизма. И в этом вопросе т. Богданов не одинок. К чему методологически свелся сегодняшний доклад? Было взято слово „рассуждение", именно слово, абстракция, а не реальный процесс рассуждения, протекающий под живым воздействием об'ективных процессов природы и истории. Поэтому и проблема научности рассуждения свелась к вопросу о том, насколько правильно употребляют слова, термины, насколько правильно разграничивают, в какой степени не смешивают различные значения слов и терминов. Давно известно, что эта выдержанная в духе гуссерлеянски-схоластического направления современной буржуазной мысли постановка вопроса уже фигурировала несколько лет тому назад в писаниях т. А. Варьяша, ставшего знаменитостью за такой короткий промежуток времени. Недавно им высказана та же точка зрения в методологическом „введении" в „Историю новой философии". Впрочем, можно ли требовать от т. Варьяша понимания реакционной сущности гуссерлеянства, когда в послесловии к последнему изданию „Философских очерков" „сама" Л. И. Аксельрод-Ортодокс расшаркалась перед этой якобы многообещающей публикой, якобы чуждой религиозных и мистических настроений?

В-пятых, вопрос о качестве. Конечно, здесь нам всецело вспоминается и т. Сарабьянов. Нет сомнений, что и этот пунктик был выставлен в „программе" сегодняшнего доклада в значительной степени благодаря тому, что пропангандируемая механистами ревизия диалектически-материалистического понимания „качеств" и „скачков" создала благоприятную атмосферу для прямого нападения на марксизм. По мнению т. Богданова, категория „качества" обязана своим существованием только своей „многозначности", „это обывательский термин, который никакой научной ценности не имеет", уточните это понятие, употребляйте это слово в одном, точно определенном „научном" „значении" и вы увидите, что никакого качества по существу и нет, что дифференцируется значение слова, улетучивается загадочный „качественный" характер, надо только правильно анализировать слова. Тов. Богданов только повторил в новой форме точку зрения, развиваемую т.т. Сарабьяновым, Степановым и др., точку зрения, которую он совершенно правильно рассматривает, как ничего общего с марксизмом не имеющую, но которую названные товарищи ничтоже сумняшеся выдают за стопроцентный марксизм.

Я хотел только указать на это исключительное забавное совпадение взглядов докладчика с теми, которые еще недавно развивались на страницах марксистских журналов от имени „современнейшего" „научного" „механистического" естествознания. Если представители „науки" и „научного материализма" являются специалистами в своей области и каждый насаждал ревизионистские тенденции, то тов. Богданов взял на себя труд собрать все эти тенденции вместе и дать широкое „теоретическое" обоснование антифилософской, антимарксистской сущности всех этих разновидностей современного ревизионизма. Мне кажется, что здесь приходится подчеркивать это обстоятельство. Если доклад будет напечатан, возможно, на него будут ссылаться в подтверждение того взгляда, что Деборин и его ученики ошибаются, а что фронт противников последних увеличивается и т. д. и т. д. (тов. Богданов: „Таких глупых не найдется, чтобы на меня ссылаться: невыгодно"). Для нас же подобное увеличение антимарксистского фронта, подобное об'единение показывает только эклектическую сущность всех этих современных ревизионистских выступлений (тов. Богданов: „Единство есть, но ссылаться не будут"), показывает, что образование ревизионистского блока—совершившийся факт.

Теперь по существу доклада. Все существенное было сказано т. Каревым. Суть доклада вытекает из схоластической установки. В сущности говоря, проблема сводилась к тому, что взято понятие „рассуждение" в формальном, словесном разрезе и подвергнуто словесному анализу. Тут во имя этого анализа все отброшено прочь: и об'ективность знания, и действительность понятий, и критерий истинности, т.-е. элементы, без которых невозможно правильное теоретическое освещение этой проблемы.

Например, можно ли говорить о научности рассуждения, не сделав ясного, недвусмысленного заявления, что правильное рассуждение так или иначе отображает действительность? С точки зрения материализма, наши понятия суть отображения реальных процессов в природе, а мы не слышали от т. Богданова признания этого взгляда. Поскольку это не было сделано, открывается поле для словесного анализа. Это значит брать рассуждение, не беря проблемы суждения, умозаключения, вообще, проблем логики в их связи, наконец, философской проблемы логики в марксизме. Можно ли, например, сводить проблему множественности значений к филологическому и только филологическому вопросу? Разумеется, нет. Проблема не так проста. Есть множественность и множественность, значение и значение. Множественность значений данного понятия может оказаться в некоторых случаях необходимым развитием данного понятия, становлением составляющих его моментов, но может оказаться, что многозначимость об'ясняется просто ошибочным умозаключением, ошибочным в силу противоречия с действительностью, а не в силу некоего „рассуждательства". Во всяком случае, иногда множественность значений весьма необходима для познания дан-

ного понятия, как чего-то развивающегося и целого, существующего в противоположности своих моментов. Тут имеется целый ряд проблем, которые нельзя сводить к словесному анализу.

Наконец, последнее замечание относительно ярко выраженной идеалистической стороны доклада. Вопрос о реальности внешнего мира возникает, по Богданову, на почве слов и относится к числу пережитков донаучного прошлого. Но то, что тов. Богданов понимает под бытием, под внешними вещами и т. д., для нас, конечно, неприемлемо.

Речь у него идет о том, что о существовании внешних вещей можно говорит лишь постольку, поскольку они оказывают нам сопротивление, поскольку мы прилагаем усилия для того, чтобы их практически познать, практически преодолеть. С точки зрения материализма внешний мир существует независимо от наших практических усилий, существует независимо от фактов нашего сознания или опыта.

В итоге—повторения старых идеологических положений, давно опровергнутых материализмом. Основной философский вопрос о бытии и мышлении здесь свели к „обывательскому рассуждательству", лучшие страницы диалектической теории у Энгельса сведены к пустой схоластике, и все это преподносится в такой форме, ненаучный характер который совершенно ясен всякому теоретически мыслящему человеку.

Тов. **Кан**. Тов. Шатуновский во вступительной части своей речи воспользовался математическим образом гиперболы и осей координат, как ее ассимптот. Я хочу последовать его примеру.

Думаю, рассуждения могут быть двух родов: одни напоминают собой круг, другие спираль. Первые ничем не обогащают слушателя или читателя, они мало полезны и возвращают его к исходному пункту. Второй тип рассуждений носит другой характер: они разворачиваются как бы по спирали, по винтовой линии и вместе с ходом рассуждения вы поднимаетесь на соответствующую высоту.

Что же требуется для того, чтобы в процессе рассуждения не сбиться с пути и получить в конечном счете определенно положительный результат?

В докладе тов. Богданова было указано следующее: одним из необходимых условий для того, чтобы не сбиться с дороги, является соблюдение, в процессе рассуждения, устойчивости содержания тех понятий, которыми оперируют; они должны все время обладать совершенной стабильностью, стандартностью. Это утверждение следует, очевидно, понимать не в том, однако, смысле, что содержание понятий должно оставаться неизменным на всем протяжении исторического развития. Возражения тов. Шатуновского в этой части покоились на недоразумении: стабильность понятий необходимо сохранять в пределах данного рассуждения—в противном случае рассуждение неизбежно приводит не к истине, а к заблуждению.

Мне кажется, что все товарищи, выступавшие до меня, касались многих различных вопросов—значительных и незначительных,—больше, однако, высказывались вообще о теоретических воззрениях тов. Богданова, чем о самой сути доклада, как я ее себе представляю. Они эту сторону дела—необходимость в процессе рассуждения соблюдать стабильность понятий—почти не затронули, а между тем это имеет решающее значение. Что сказали бы вы о достоверности таких утверждений, как, напр., «данный предмет стоит десять рублей», «длина стола равна пяти метрам», если бы в то же самое время единица измерений оказалась неустойчивой?

Больше чем что-либо другое меня убеждает в необходимости сохранения стабильности—техника, и мне, как технику, легко привести несколько иллюстраций.

Что сказали бы вы о функционировании любого четырехзвенного механизма, напр., паровой машины, если бы во время работы длина его звеньев менялась? Механизм мог бы сохраниться, как механизм, но он уже не может давать требующегося эффекта: нарушение стабильности его элементов будет на практике приводить к «заблуждению».

Техника гарантирует себя, вообще, от «заблуждений», «ошибок» постановкой контроля. Достаточно, напр., напомнить организацию контроля над производством, осуществляемого на заводах Форда с необычайной тщательностью. Контроль этот достигает цели—устранения «брака», «заблуждений»—применением необычайно точных приборов, в частности, плиток или калибров Иогансона, гарантирующих изумительную точность размеров. Что случилось бы со всем производством, если бы эти приборы, в процессе контроля, сами подвергались изменениям?

Благодаря точным калибрам гарантируется возможность получения необходимых стандартных размеров и устранения всего отклоняющегося от нормы; строгое соблюдение стандартных размеров освобождает даже от необходимости производить после сборки окончательное испытание автомобиля. Таким образом, в технике эти «заблуждения» и «ошибки»—там они носят название «брака»—устраняются на каждом этапе производства строгой стабилизацией каждой детали, входящей в окончательный продукт, и орудий, необходимых для производства контроля.

В других областях практики, в сфере, далекой от технологических процессов, скажем, в области философии, сохранение стабильности ее элементов—понятий—требует больших усилий, и эффективность цепи рассуждений обеспечена в значительно меньшей степени.

Мне думается, поскольку товарищи, выступавшие здесь, не касались момента устойчивости понятий в процессе любого рассуждения, как предпосылки его продуктивности, постольку они прошли мимо главной мысли доклада.

Заключительное слово А. А. Богданова

Я думаю, что прения были великолепной иллюстрацией к моему докладу. Ведь, о чем я говорил? Я говорил; что люди совершенно не сознают того, что у них слова постоянно меняют значение, и в связи с этим, естественно, что они друг друга и себя не понимают. Если один говорит, а другой, употребляя то же слово в совершенно других значениях, ему возражает, то возражение, конечно, смысла не имеет. И здесь было так.

Я говорил о рассуждательстве, а защищают рассуждение. Позвольте напомнить, с чего я начал. Я сказал: рассуждение—драгоценное, могущественное средство познания, средство для получения истины, средство организации опыта; но оно может вести к заблуждениям. Я сказал, что существует мысль, что все заблуждения исходят из рассуждения. Я этой мысли не доказывал и не развивал; можно было бы ее развивать, но это был бы другой вопрос. Вот, собственно, что я говорил— и вот что мне говорят: вы делаете устрашающий вывод, вы говорите: «не рассуждайте». В сущности, я говорил о том, как не надо рассуждать. Я не только не призывал не рассуждать, но, конечно, рассуждаю сам, и доклад мой представлял большое рассуждение. Я говорю: вы рассуждаете таким-то образом, и вот что получается. Рассуждение, которое через несколько звеньев не проверяется, может иметь научную ценность лишь в неограниченно уменьшающихся размерах. Значит, никакого такого устрашающего вывода я не предлагал, и не знаю, зачем тов. Шатуновский настаивал, что не надо отказываться от рассуждения, рассуждения верного. Напр., такая вещь: тут тов. Шатуновский говорил, что мы Эвклида понимаем и Спинозу понимаем. Эвклида вы понимаете, у него чертежи, линии, вы могли его понять, потому что значение этих символов сохранилось в строго стандартном виде. А в отношении Спинозы вы этого не сделаете, его геометрический метод— фикция. Бедный Спиноза, я его очень люблю (с места: «Понимаете?»). Понимаю, как человека, мыслителя, который старался установить единство в существующем; понимаю, как борца, который не боялся итти один против всех; понимаю, как человека, которого великолепно не понимали в его поколении. Это я все понимаю не хуже, а, может быть, и лучше других.

Говорят: материализм Спинозы давно открыт, вы не знаете истории философии. Может быть, и правда: я давно уже не философ, насчет истории философии не специалист, но должен сказать на это: разве материализм Гоббса и вообще тогдашний материализм похож на ваш материализм? Нет, совершенно не похож. Вы опять взяли то же слово, а материализм-то был совершенно другой. Вы ссылаетесь на то, что французские материалисты 18 го века считали себя спинозистами; но разве не доказано, что они Спинозу понимали не так, как Спинова сам себя понимал? Французский психо-физический параллелизм не есть параллелизм Спинозы. Вы этого не скажете, но немецкие исследователи, очень почтенные, считают это несомненным.

Но дело даже не в том, доказано это или не доказано. А дело в том, что всякое мое положение подменялось совершенно другим, всякое понятие, которое я употреблял, старательно об'ясняя и ограничивая, подменялось, не умышленно,—этого я не говорю,—а в силу необходимой стихийности общественных отношений, в силу господства орудий над людьми, подменялось другим, потому что сие прямо вытекало из крайней разнородности опыта. Возьмем, напр., такую вещь: «качество». Я об'яснил, почему я, собственно, считаю этот термин для научного употребления совершенно непригодным, потому, что этот термин многозначащий. Возражают мне в таком духе: качество — это об'единяющий

термин и имеет вполне определенное значение, он означает «определенность, дающую специфическую закономерность». Таким образом, «качество» становится ясным, при чем единственный недостаток этого определения заключается в том, что в нем опять употребляется то же понятие «качества»: ведь «специфический» есть только другое обозначение «качества». Так вот видите, какая определенность получается: никакой определенности нет и получить ее никак нельзя, раз слово исторически дифференцировалось чорт знает каким образом. Когда тов. Шатуновский говорит, что Маркс капитал определяет, как «качество», то я должен на это сказать, что в «Капитале» удивительно мало встречается слово «качество». И постановка вопроса у Маркса тем и отличается, что у него вместо неопределенных терминов господствует в политической экономии совершенно определенная структурная точка зрения (с места: «Маркс говорил о переходе количества в качество»). Конечно, говорил, но в политической экономии он чрезвычайно мало об этом говорил. Вся суть в том, что он постановке этого вопроса придал структурный характер. Тов. Вайнштейн говорит, что Маркс капитал определял, как качество, определяя его, как структуру отношений общества. Как раз он слово «качество», может быть, и употреблял, но придал ему значение определенной структуры, и благодаря этому, конечно, его анализ стал гораздо точнее.

Затем возражают мне таким образом,—это несколько уже другая сторона дела,— как я легким филологическим анализом убил проблему, над которой веками ломало голову человечество. Где угодно, но в Коммунистической Академии я не ожидал услышать такого метафизического возражения. Значит, проблем, напр., религиозных нельзя на этом основании отстранить путем анализа того содержания, которое вкладывается в них (с места: «Исторического, социологического анализа»)? Если вы хотите определить значение слова, которое есть социальный комплекс, сложившийся «в процессе труда, который есть опыт, и опыта, который есть труд», это есть анализ социально-исторический, а не какой-нибудь другой. Сейчас нельзя сомневаться, что вы вложили в слова совершенно другое содержание. Это очевидно.

Затем мне говорят: «Куда у вас девался об'ект, предмет?» А что же, товарищи, я говорю? Рассуждайте, но проверяйте через опыт, практику, идите в природу, в жизнь. Что это значит? Итти к об'екту, к п р е д м е т у. Я говорю: проверяйте практически, проверяйте на опыте, и т. к. я не сказал слова «предмет», мне говорят: «У вас предмет пропал, исчез». Что же это такое? Я не сомневаюсь, что здесь недоразумение. Но не есть ли это живая иллюстрация того, до какой степени людям трудно удержать, фиксировать смысл понятий, которые дают им что-нибудь новое. Я говорю все время: рассуждение не ценно, пока не проверено, и лишено научной ценности, если его нельзя проверить; значит, пожалуйте к предмету; только прямо слова «предмет» не употребил, и этого достаточно, чтобы получилось полное недоразумение.

Или, напр., такая вещь: применение теории вероятностией. Тов. Шатуновский совершенно не понял, что значит у меня это применение.

Вот вы говорите, если имеются 1000 чисел, то сколько есть вероятности, что 2×2 будет 4? Будет $\frac{1}{1.000}$ Да, если вы не знаете, сколько будет 2×2 и имеете 1000 чисел, то такова для вас и будет вероятность, что будет 4. Но вы должны знать, что 2×2=4. Так же определяется вероятность, если вы не понимаете, что слова постоянно меняют свое значение. Рассуждательство, ведь, и характеризуется словесным фетишизмом, который заключается в том, что думают, что слова имеют значение сами по себе, что смысл их безусловен. Тогда идет совершенно стихийный процесс, тогда прямо применима теория вероятностей. А я говорю: надо бороться со словесным фетишизмом, надо фиксировать значения слов. Если вы допускаете возможность определенной ошибки и сознательно стараетесь ее избегнуть, то, конечно, вероятность будет совершенно другая. Тогда есть определенно действующая тенденция, которая меняет дело. Вопрос совершенно простой, а вы поняли иначе. Почему? Потому что действительно трудно понимать вещи сколько-нибудь адэкватно, когда содержание, из которого исходят, разное.

Говорят: разве это не схоластическяя постановка, когда тут не было ни об умозаключениях, но о логике и пр.? Я не знаю, мне кажется, что как раз схоластики именно этим и занимались, а не тем, чем я; но суть дела в том, что я в начале доклада сказал, что невозможно в полном масштабе поставить это проблему, потому что сюда вошла бы вся логика; и поэтому я беру только одну сторону этой проблемы—вопрос о познавательных элементах, о словах-понятиях. Таким образом я точно и ясно ограничил свою задачу. Действительно, в вопрос можно бы ввести всю логику, но я и так говорил больше часу; сколько бы пришлось говорить тогда? А затем от меня требовали бог знает чего. Как, не поставил проблему о непрерывном и прерывном, о необходимости, об истине, о критерии истины? Здесь обо всем этом говорить не было возможности, в другое время я много об этом говорил. Коснусь еще сейчас вопроса о критерии истины. Может быть, я большой старовер, но для меня критерий истины—это практика, я считаюсь именно с вещами. Если получается что-нибудь на практике согласно предвидению, значит, вы исходили из истинных, правильных понятий. Это понимание я тут и проводил все время. Если вы требуете от меня, чтобы я специально на этом остановился, это беседа другая. У вас два критерия, две формулировки, которые могут на деле оказаться совсем расходящимися. У вас истина есть соответствие понятия предмету; а в то же время вы, конечно, „марксисты“, сторонники того положения Маркса, что критерий истины есть практика, но предмет и практика у вас не одно и то же: у вас есть понятие „вещи в себе“, и если предм т означает эту самую вещь, практически вы туда добраться не можете (с места: „Не в кантовском, а в материалистическом понимании). „Не в кантовском, а в материалистическом понимании“, а все-таки в пределах опыта, или за пределами опыта? Вот в чем вопрос. Если вы скажете ясно, что тут трансцензуса нет, тогда нечего и говорить о „вещи в себе“. Энгельс ведь говорил не о вещи в себе, он говорил, почему вещь в себе не следует признать (с места: В кантовском смысле“). Посмотрите, с помощью каких увертoк вам приходится навязывать эту „вещь“ Энгельсу! В единственном месте, где он говорит о вещи в себе, он над ней издевается; а вывод у вас такой: он вообще признавал вещь в себе, только в другом смысле (с места: „Он говорил о вещах, не зависимых от нас в смысле материальной природы“). Он несомненно принимал вещи, как они есть, и говорил о них, как независимых, просто в том смысле, что они могут причинять нам всякие неприятности и неожиданности на практике Вы мне говорите: „это ваше толкование“, но в конце концов неизвестно, которое толкование критерия истины принять, если их у вас два. Это опять иллюстрация того, как бесполезно только рассуждать на подобные темы. Но, пожалуйста, покажите годность вашего первого критерия с помощью практики, покажите, что в нем заключается еще нечто, кроме соответствующей практики. Если нечто новое заключается, тогда скажите, что критерий „практика“ не достаточен; если это то же самое, то вопроса об этом не было бы; но у вас получается не то же самое.

Мне хочется еще остановиться несколько на „клеветничестве философов“. Как получается клевета? „Устранить предлагается всякое теоретическое мышление“. Как будто весь доклад насчет теоретического мышления... „Гегель—хуже дохлой собаки“ и пр. Я говорил о значении великих систем, и говорил, что значение их для познания, примерно, таково, как значение социалистических утопий для борьбы за социализм, для борьбы за лучшие условия жизни. Они выставляли идею единства, давали линию борьбы за него, намечали путь. В этом громадная ценность подобных систем. И сказать после этого „хуже дохлой собаки“, это странное понимание того, что я говорил о значении великих систем (с места: „Это о Гегеле, а не об утопистах“). Во всяком случае резюмировать мою позицию в том смысле, что я хочу ликвидировать все понятия и оставить только факты, факты и факты, это, я думаю, только один товарищ так меня понял, а большинство поняло совсем не так.

По чисто научному вопросу мне хочется несколько слов ответить тов. Асмусу, который подошел к делу серьезно, но не с той стороны, как я. Я не филолог и в этом смысле гораздо менее его компетентен. Когда он касался некоторых вещей, которых не касался я, он, может быть, и прав, но я должен сказать следующее относительно теории Нуарэ и прочих вещей. Он сделал мне возражение такого рода, какое раньше сделал в печати Марр относительно первичных корней,—что нельзя добраться до настоящих первичных корней и их смысла. Это недоразумение, и зависит оно от той же разрозненности знаний, которое вообще везде ограничивает пути исследования. Это наблюдается на каждом шагу. Вот цитировали, как некоторые физики в большом огорчении от расклеившихся закономерностей насчет прерывности и непрерывности взывают к философам. Это растерянность людей, которые слишком большие специалисты и обращаются к философам потому, что не умеют искать выхода в других областях самой науки (с места:

„Потебня в растерянности“). Вы меня не поняли. Я говорю, что приводились примеры, когда физики апеллируют к философам. Это пример растерянности специалистов, если физик говорит так. Но дело сейчас не в этом. Я хочу указать на другое, именно, как специализация может помешать полному выяснению дела. Ни вы, ни Марр, ни тем более Потебня не рассматриваете слово, как рефлекс, и не рассматриваете функцию слова, как рефлекса. В развитии первичного корня есть определяющий физиологический момент — это самое трудовое действие, которое он означал. Первоначально имелось действие, которое было реакцией всего организма в целом и в котором принимали участие разные мышцы, не только те, сокращением которых выполняется самая задача действия, но и другие — мышцы глотки и полости рта, от которых зависит форма голосового резонатора и т. д. В результате получаются, допустим, усиленный удар и вместе с тем звуковые сокращения мышц, которые с этим усиленным ударом неразрывно связаны, потому что служат прямо для приспособления дыхательного аппарата к этому усилию. И я взял пример одного из немногих корней, которые сохранили это первоначальное физиологическое значение в системе трудового комплекса, как целого. „Ясно, что корень rhag сохраняет все черты такого приспособляющего рефлекса. Он просто остался, как составная часть того состояния, в которое приходит человек, когда наносит удар; человек тогда рычит, потому что это необходимо связано с известным усилиями организма Для некоторых первоначальных корней, вопреки тому, что говорит Марр, можно и сейчас установить их первоначальное значение просто потому, что оно сохранилось в силу того, что они остались для человеческого организма, как нужные приспособляющие рефлексы. Напр., если корень rg сохранил характер рычания, то корень fl (в словах flare—дуть, flamma, feu, Feuer—пламя), в котором центром является губной звук ф, этот корень совершенно несомненно удержал свои первоначальные черты, которые и сейчас выступают в раздувании пламени. Тот корень, который выступает в немецком hauen—рубить, этот звук ha! при специфическом усилии удара в колке дров тоже остался необходимым приспособлением организма к этому действию. Таким образом, есть еще и теперь некоторые действия, в которых сохранился звуковой момент, и они дают нам возможность видеть, каковы были первичные корни. Мы, напр., в корне ky. означающем „копать“, не можем уловить первичного значения, но возможно, что надавливание грудью на ручку лопаты вызывало придыхательный звук, который стал корнем с массой производных, означающих „копать“ (с места: „А междометия?“). Они не принадлежат к системе первичных корней: их развитие было гораздо слабее. Все это не входит прямо в тему доклада; но об этом я говорю просто потому, что это интересный вопрос, которым следует заняться.

Затем ваше замечание относительно тождества и пр. По существу это верно, в этом значение логики. Но, с одной стороны, я ведь эти вопросы заранее отстранял, а, с другой стороны, я именно это, если хотите, косвенно подчеркнул. Требование не изменять значения слов, это как раз и есть применение общих формул—тождества, противоречия,

исключенного третьего. Если же вы говорите, что силлогизм вообще непогрешим (т. Асмус: „Как форма связи“). Как форма связи, это собственно, что означает? Если вы формулируете силлогизм так, как его с такой точки зрения формулировать следует, напр. „все люди, в том числе и Кай, смертны“, это будет только форма изложения некоторого факта. Но силлогизм может играть некоторую творческую роль. Действительно, если вы видели несколько образцов какого-нибудь типа и потом встретите новый образец того же типа, вы переносите на него прежде наблюдавшиеся признаки этого типа. Если вы видели млекопитающих и увидели, что дельфин кормит молоком своего младенца, вы говорите, что у дельфина наверно красная и теплая кровь, легкие и т. д. Но тут именно имеется petitio principii. Поскольку силлогизм не является суждением по аналогии, постольку он ничтожен; поскольку он является творчеством, он имеет все признаки суждения по аналогии со всей заключающейся в нем совокупностью „логических ошибок“. Я это только и хотел сказать.

Теперь я в заключение попробую резюмировать смысл наших прений. Конечно, тов. Баммель собственно уже резюмировал его таким образом, что все как есть ревизионистские линии, в моем докладе все они есть. Тут и механисты, и идеалисты, и Варьяш, и Ортодокс. Ортодокс как раз моя крестная маменька, которая меня первая отлучила, а теперь она тоже оказалась еретиком. Варьяшизм я, правда, не очень знаю, думаю, что это что-нибудь очень плохое,—он тут есть; затем и Степанов, и Сарабьянов, и пр. Вот именно такая характеристика,—это и есть то самое, о чем я говорил, что у нас даже самое слово „полемика“ имеет разное значение. Но что вы, собственно, этим сказали? В конце концов все-таки совершенно ясно, что это есть не что иное, как суждение по аналогии, но суждение по аналогии от одного к одному. Вы понимаете, какая логическая ценность этого суждения от одного к одному. Допустим, у вас был один факт: Степанов сказал что-то, нечто подобное говорю я,—значит это вообще то же самое. Я отвечаю за все ереси Степанова. Это суждение по аналогии по типу от одного к другому; оно носит еще неудобное название „женская логика“. Я, конечно, не думаю, что это на самом деле «женская логика». Так же и насчет Спинозы. Я не виноват, что тов. Ортодокс тоже не считает Спинозу материалистом. Может быть, она права, может быть, не права, но в конце концов это совпадение не так существенно, чтобы на этом основании я отвечал за все ее преступные ереси; что это несправедливо, дело совершенно ясное. Собрали все преступные ереси, и за все я должен отвечать.

Да, вот еще ваше возражение: «множественность значений» сама имеет полезное значение. Я, ведь, как раз с этого и начал: многозначимость слов не может и не должна быть уничтожена; без нее нет и не может быть движения; необходима устойчивость значений для каждого данного рассуждения; но без той множественности значений, которая создает возможность развития, слово превратилось бы в препятствие к развитию. Все возражение совершенно не относится к тому, что я говорил. Но это в высшей степени характерно для иллюстра-

ции того, что у нас не может получиться, даже в сколько-нибудь ограниченных, сколько нибудь необходимых пределах, взаимного понимания.

Наконец, насчет роли качества,—моя позиция по отношению к этому вопросу совершенно определенна. Это понятие надо устранить, разложить на более точные понятия: существуют различные элементы материала, различные структуры, различные оттенки, это все будет различия, которые надо в каждом частном случае точно анализировать. Но, поскольку вопрос этот относится к полемике с механистами, я в эту полемику вмешиваться не намерен,—в ней все хороши. Дело в том, что в России, когда говорят о диалектике, то чаще для того, чтобы на деле отрицать возможность развития, и когда говорят о «качественных различиях», то больше для того, чтобы утверждать их несводимость к количественным. При этом забывают, что тот же Энгельс, на которого они ссылаются, в той же «Диалектике природы» устанавливал основное качественное различие между химическими и физическими явлениями,— вот где он его находил; а кто сейчас признает там качественное различие? Я думаю, что вряд ли даже вы признаете.

Повторяю, я думаю, что прения были великолепной иллюстрацией к моему докладу, а что касается возражений, которые были, конечно, в высшей степени убедительны для тех, кто их приводил, то и это только означает, что слово «убеждать» тоже имеет разное значение.